

Николай Верёвочкин



ФЕНИКС ИЗ ПЕРВОГО СНЕГА

О несчастье! Оно является опорой счастья.
О счастье! В нем заключено несчастье.
Кто знает их границы?

Дао Дэ Цзин, книга вторая, 58

1

Лиса-огневка, бегающая от лунки к лунке в поисках оставленных рыбаками окуньков и шкурок колбасы, насторожилась и посмотрела в сторону человеческих жилищ.

Деревня Новостаровка досыпала последние сны. Поселение это основали спрятавшиеся от мирской суеты в заповедной глуши старообрядцы. И хотя спустя несколько поколений большинство потомков первопоселенцев стали атеистами, в облике домов, нравах и характерах новостаровцев сохранился особый упрямый дух предков.

Была еще ночь, но уже предчувствовалось утро, когда даже люди, измученные бессонницей, засыпают мгновенно и сладко.

В переходный час, когда чуткие натуры чувствуют вращение земного шара, по крутому берегу спустился на заснеженный лед Соленого озера дед Пыхто.

Старейшего рыбака Новостаровки можно было принять за Деда Мороза, но одетого в будничные одежды ночного сторожа. Латанный-перелатанный овчинный тулуп до пят, под которым скрывались ватник, ватные штаны и подшитые валенки. Стоячий воротник и шапка-малахай припудрены инеем. Дед волок за собой сани-сундучок, полозья которых были сделаны из обрезков старых лыж и приятно шуршали по свежему снегу. К сундучку привязана пешня, которой дед доверял больше, чем ледобуру.

Дед Пыхто – прозвище.

Но никто, кроме почтальона, фамилию его не помнил.

Дед раньше других рыбаков вышел на лед, во-первых, потому что страдал бессонницей, а во-вторых, потому что сильно сомневался в своих скоростных возможностях.

Азарт гнал молодых рыбаков – молодыми для деда Пыхто были все, кому еще не исполнилось восемьдесят пять лет – к Каменному острову, почти на середину озера, откуда Новостаровку, спрятавшуюся за горизонт, не было видно. Там водились самые большие, черноспинные окуни.



Но дед Пыхто отходил от берега не более километра, где окуни тоже водились, но поменьше и песчаной расцветки.

В деревне их звали рыжиками. Приезжие очень удивлялись, когда на вопрос, куда хозяин собрался в такую рань в такой мороз, старожил степенно отвечал: пойду за рыжиками.

Дед шел, оставляя на освещенном луной снегу голубой орнамент: многоточие следов подшитых валенок, обрамленное следами широких полозьев, пока не уткнулся в вешку, повязанную белой тряпичей. Это была его метка.

Никто из рыбаков не нарушал неписаный закон Соленого озера. Чужие лунки, помеченные вешками, были неприкосновенны. Никто на них не посягал. Дурным тоном считалось даже бурить лунку рядом с чужим городком.

Озеро размером с небо. На таком пространстве всем места хватит.

Дед не спеша подправил старую лунку, уселся на сундучок и, насадив на три подвода бармашей, опустил их в черное отверстие.

Поздняя ночь постепенно перешла в серое утро. Невидимым под снегом зигзагом молнии прошла со звоном трещина по льду, и грустное одиночество рыбака осветило, выглянув из-за белой равнины, бодрое, как утренняя зарядка, и розовое, как юношеские мечты, солнце. От кирпичного завода выкатили на лед первые легковые автомашины, мотоциклы, два автобуса и покатали вереницей к Каменному острову. К этому времени на снегу перед дедом уже прыгали три окунька.

Когда же солнце поднялось над горизонтом и приобрело свой естественный свет, со стороны Новостаровки на Соленое озеро выкатил трактор «Беларусь» с поднятым скребком. Он слегка напоминал фигуриста с поднятой над головой партнершей. В холодной кабине его теснились три человека.

Трактор остановился в ста метрах от сидящего над лункой деда, и два человека, выпрыгнувшие из кабины – один маленький, другой высокий – огородили рыбака ивовыми прутьями.

Опустив скребок и ориентируясь по вешкам, «Беларусь», пуская белые кольца дыма, принялся расчищать лед от снега, пока не окружил деда темно-изумрудным овалом.

Подняв скребок, трактор дал задний ход, передохнул, тарахтя, снова опустил скребок и принялся рисовать еще один круг, параллельный первому, оставляя между полосами льда ровный валик снега. При этом маленький человек шел впереди трактора, а высокий – позади. И маленький и высокий что-то кричали трактористу. Тракторист их не слышал, но, соглашаясь со всем, кивал головой.

Дед Пыхто, не обращая внимания на суету вокруг него, вытаскивал из лунки окуней и бросал их на снег. Шум деда не тревожил, поскольку был он глуховат, а самое главное знал, что окунь – рыба задиристая, и в отличие от других рыб не боится шума, напротив того, шум его только привлекает.

Очертив вокруг деда двойной овал, люди, некоторое время полюбовавшись результатами своей работы, сели в кабину трактора и укатили в Новостаровку.

Но тишина продолжалась недолго.

Со стороны Новостаровской, справедливо сказать, довольно средней школы темной лавиной выкатилась на лед толпа школьников и, оглашая грачиным граем белую пустыню озера Соленого, покатились на деда Пыхто. Мальчишки несли деревянные скребки, а девочки – метлы и веники. Несли – сказано неточно. Маль-

чишки фехтовали черенками лопат, а девочки защищались от снежков, используя веники и как щиты, и как мечи. И только несколько мальчишек не участвовали в ледовом побоище. Не потому что они отличались примерным поведением, а просто потому, что сражаться им было нечем. Двое несли на головах стол вверх ножками, а трое тоже на головах и вверх ножками стулья, что делало их похожими на неизвестное науке стадо рогатых животных. Позади темной лавины четыре старшекласника торжественно, как гроб, несли фанерный пьедестал.

Каким-то чудом физрук Подлещиков неуправляемое броуновское движение направлял к определенной цели.

Блаженны миротворцы. Прежде всего физрук Подлещиков предотвратил попытку мальчишек со стульями на голове забодать мальчишек, несущих на головах стол. Он кричал охрипшим басом: «Пятый, седьмой и девятый квас – певвая довожка, шестой, восьмой и десятый квас – втовая довожка». А какой-то остряк глубоко в тылу пародировал его голосом Карабаса-Барабаса: «Шестой квас – кисвый квас, седьмой квас – свадкий квас». На что маленький, шустрый и прозорливый физрук грозил пародисту: «Башмаков, уши обовву!» И Башмаков обнаруживал себя молчанием.

У всех девочек веники были местного производства – березовые и полынные. Именно такими у порогов домов обметают снег с обуви.

И только у одной был он похож на золотой веер и сделан был в южных краях из степного растения чия. В эту девочку тоже летели снежки, разрисовывая ее шубку в шкуру леопарда, но она не обращала на них внимания и держала веник, как держат букет цветов.

Лавина прокатилась по ледовым дорожкам. Лед был дочищен и подметен до зеркального блеска. Бороздка между полосами, где надо, подправлена и уплотнена, а где надо, убрана. Окуни деда Пыхто обсуждены и подсчитаны. Стол, стулья и пьедестал поставлены куда надо. Физрук Подлещиков расставил вдоль ледяного овала школьников с деревянными лопатами и вениками.

Ледовый овал, в центре которого над лункой сидел невозмутимый дед Пыхто, окружила толпа.

В Новостаровке торжественно открылась районная спартакиада школьников по зимним видам спорта. Впрочем, и участники, и организаторы, не мелочась, называли это событие олимпиадой.

...У меня до сих пор хранится снимок, на котором запечатлено это событие. Но сколько бы я ни разглядывал его даже под самой мощной лупой, не мог найти самого важного участника: девочки с золотым веником.

Старик над лункой – есть, судьи за столом – есть. Физрук Подлещиков, много знакомых, а еще более незнакомых лиц вместились в кадр, а ее нет.

Жалко.

Видимо, фотограф стоял рядом с ней, и поэтому она не попала в поле его зрения.

Плохой фотограф. Он не заметил основного участника события.

Да и я не замечал ее до того момента, когда вышел на старт в финальном забеге на 3000 тысяч метров.

Я не волновался. Второе место мне обеспечено. А тягаться с десятиклассником Сарымсаковым, о котором физрук Подлещиков, гордясь безмерно, говорил, что он

6
родился в коньках (бедная, бедная мама Сарымсакова!) было не просто бесполезно, но и глупо. Моя задача – не отстать на круг. Говоря проще, не опозориться.

На Сарымсакове трехцветная «лягушка». Комбинезон куплен специально для него с перспективой не только областной, но и республиканской олимпиады. Никто особенно не удивится, если он от республики поедет и на союз. Мой соперник выглядел как космический пришелец. На мне же лыжная шапочка, шерстяной свитер с петухами и, если никому не скажете, мамины гамаши из верблюжьей шерсти.

Мы с Сарымсаковым ткнулись кулаками.

Стартовый пистолет.

Покатили.

Когда я выходил из виража, увидел ее. Девочку с золотым венком. Доля секунды. Вспышка. Моментальный снимок. Озарение. Она держала венок как букет. На ней была шапка с длинными ушами, которые можно использовать вместо шарфа. Но уши свисали. Шубка колокольчиком. Валенки. Коленки. И глаза. Они светились. От нее исходило грустное сияние первого снега. Она вся светилась. В этой девочке из первого снега было свое печальное солнце. В ней сочетались свет, тепло и холод первого снега.

Мне трудно передать это первое впечатление.

Увидев девочку с золотым венком, я мог или споткнуться, или стать чемпионом.

Других вариантов не было.

Я не споткнулся.

И с каждым кругом, пролетая сквозь сияние, исходящее от девочки, я укрепился в мысли, что на этот раз чемпионом Сарымсакову не быть.

С каждым кругом веселая, задиристая сила все энергичнее подталкивала меня в спину. Дышалось глубоко и сладко. И с каждым разом я отталкивался ото льда чуть сильнее, чувствуя при этом неисчерпаемый запас сил. Я был привязан к тросу, и кто-то озорной и сильный раскручивал меня, стоя в центре круга, там, где посреди районной олимпиады сидел дед Пыхто и невозмутимо таскал из лунки окуней. В голове моей, задавая темп и настроение, звучал «Полет шмеля», который сменял «Танец с саблями». Сердце стучало ровно и мощно, прокачивая кровь по всему телу волнами счастья. Звон моих старых коньков, режущих изумрудный лед Соленого озера, разносился по всей планете. Меня переполняла радость. Я и не заметил, как обошел Сарымсакова. Я о нем просто не думал. Забыл. Я мог думать только о том, что на меня смотрит девочка первого снега. И испытывал удовольствие, нет, наслаждение от скольжения по льду Соленого озера.

Когда судья остановил секундомер, он не поверил своим глазам. Я, девятиклассник из Ильинской школы, пацан в мамкиных гамашах, на старых «ножах» выполнил норму мастера спорта. И даже не особенно запыхался.

Я думаю, что люди, расчищавшие лед, что-то неправильно рассчитали. Но сейчас это трудно проверить. Тот лед давно растаял. А в областной газете в заметке «Олимпийская надежда на льду Новостаровки» так и было напечатано: «выполнил норму мастера спорта». Не буду спорить с газетой. Газетам нужно верить. Если не верить газетам, кому верить?

Выпрямившись во весь рост, я сделал еще круг. Не для того, чтобы восстановить дыхание, а для того, чтобы еще раз прокатиться сквозь ее сияние. Зрители

свистели и неодобрительно гудели. Я проявил непростительную бестактность: на льду их родного озера победил земляка. Я помахал рукой девочке с золотым венником, а она показала мне язык. Сарымсаков же, которого мой рывок сбил с темпа, докатывал до финиша, но не выпрямившись, а оперев руки в колени. У него настолько не было сил, что остановиться он мог, только уткнувшись головой в мой живот. А дыхания хватило только на то, чтобы сказать: «Молоток!» И, не разгибаясь, великий Сарымсаков протянул руку в пространство, где предположительно должен был находиться я, поздравляя.

Зимний день, как и школьная олимпиада, короток. Награждение состоялось сразу после нашего финиша.

Выдав дипломы, на шею нам повесили медали, сделанные местным умельцем из латуни и раскрашенные в цвета драгоценных металлов.

С пьедестала та же веселая, неведомая сила, одолевшая непобедимого Сарымсакова, направила меня к девочке с золотым венником.

И когда я увидел ее вблизи, когда попал в пределы сияющей сферы, окружавшую ее, меня снова закружило на долгом вираже. И если бы меня спросили, в чем смысл жизни, я, не сомневаясь ни секунды, ответил бы – в ней.

– Как Вас зовут? – спросил я, наслаждаясь светом ее глаз.

– Снежанка, – ответил за нее с вызовом пацан, стоящий рядом, торчащие уши армейской шапки делали его похожим на задиристого щенка.

– В каком Вы классе, Снежана?

– В седьмом, – ответил за нее пацан хмуро. – А что?

– Это Ваша медаль. Если бы не Вы, мне бы ни за что не победить.

О, с каким подозрением и неодобрением посмотрел на нее пацан. А как он мог еще смотреть на предательницу, которая помогла чужаку одолеть его земляка. Кумира.

Я снял с себя латунную, раскрашенную под золото медаль, и повесил на ее шею. Она попыталась снять ее с себя, но, придержав ее руку, я сказал:

– Через шесть лет, когда я закончу школу и институт, Вы станете моей женой.

Сама природа здешних мест – это заснеженное озеро, сосны, покрытые реликтовой сосной, деревня Новостаровка и высокое небо над ней – смотрели на меня наивными, ясными и спокойными глазами. Девочка презрительно фыркнула и объяснила пацану:

– В психушке день открытых дверей.

– Храните эту медаль шесть лет. Вы можете вернуть мне ее когда угодно. Я не исключаю, что вы можете встретить человека лучше меня. Но это маловероятно, потому что с этого дня я буду стараться стать лучше всех.

Слова эти вылетали из меня как бы сами собой. Мне было невероятно весело и легко. Я сам удивлялся тому, что говорю.

Ее глаза излучали свет, но были темными. Как омут, над которым поверхностные бирюзовые воды сияют солнечными бликами, но глубина пугает. Взрослые глаза. Точнее сказать так: под открытым и недоверчивым взглядом деревенской девочки скрывалась нестигаемая воля боярыни Морозовой.

Она сняла с себя медаль и протянула ее мне.

Но парнишка, стоящий рядом, выхватил медаль из ее рук.

– Бьют – беги, дают – бери, – напомнил он вечную мальчишескую мудрость, спрятал медаль в карман, снял варежку и, протянув мне руку, представился:

– Ефим.

– Рябчик, Рябчик! Лети к нам! – кричали ребята из моей школы.

Через час мы должны были встречаться на хоккейной площадке с кривошековцами. Село такое между Ильинкой и Новостаровкой – Кривошеково. А жители, его населяющие, все до одного – кривошековцы. Интересно, кто придумал эту кличку для села? Должно быть, сильно обидели местные человека.

А Рябчик – моя фамилия. С такой фамилией и прозвища не надо.

Есть люди, которые таким пустякам придают большое значение. А по мне фамилия – лишь сочетание звуков. Инвентарный номер. Рябчик и Рябчик. И почему я – Рябчик? Какое отношение имею я к рябчику? Должно быть, кто-то из моих дальних предков был добычливым охотником и приносил этих самых рябчиков мешками. А может быть, он вовсе и не был охотником. Может быть, он просто был рябым. Может быть, его прозвали рябчиком по какой-то другой причине. Я не знаю. И никто не знает. Но это прозвище закрепилось за ним, передалось детям – и пошло и поехало умножение Рябчиков. В роду уже не было ни охотников, ни рябых, но всех звали Рябчиками. Я, например, не только не охотник, но и живых рябчиков ни разу не видел, а все равно – Рябчик. Какой смысл в фамилиях? А никакого. Просто инвентарный номер.

– Снежана, Вы будете болеть за меня? – спросил я девочку с золотым венником.

– Разгон на салазках с Большой сопки, – ответил за нее Ефим, – мы только за своих болеем.

Лавина болельщиков и спортсменов потекла с Соленого озера на школьный стадион и остался на льду только дед Пыхто.

Ничто, кроме чаепития, не отвлекало его от рыбной ловли, потому что занятий серьезнее рыбалки в этом легкомысленном мире нет.

Как звезда, которая не обращает внимания на кружащиеся вокруг нее планеты, кометы и прочий космический мусор, дед проигнорировал шум, гам и суету школьной олимпиады. Клев затих. Видимо, стая окуней уплыла вслед за толпой болельщиков.

Налил дед Пыхто из китайского термоса с драконами чаю в крышку, но дрогнул кивок, и дед поставил крышку с парящим чаем на снег.

Тихо и печально на озере. Стало вдруг ясно: все преходяще в этом прекрасном мире. Вот только что вокруг старого рыбака кипели страсти, но отшумело событие, и где оно? Что осталось от него, кроме множества следов и расчищенного от снега зеленого эллипса льда?

Один дед Пыхто сидит в центре ушедшего в прошлое события. Сидит и не шевелится.

То ли окуни перестали клевать, то ли заснул над лункой.

Под вечер рыбаки с дальних окуневых мест стали возвращаться по утренним колеям, и всепогодный трехколесный мотоцикл «Урал» свернул к одинокому рыбаку.

Тарахтит мотоцикл. Сидит старый рыбак в зеленом кругу припорошенных снегом окуней, за двумя полосами изумрудного льда. Сидит и на приветствия не отвечает.

– Эй, дед, бабка, поди, загуляла, – крикнул человек за рулем, на голове которого был надет танкистский шлем без наушников.

Тарахтит мотоцикл. Молчит дед, не шевелится.

– Сходи разбуди, а то замерзнет.

Выбрался из люльки человек в вязаной шапочке с помпоном, подошел к деду и уже хотел толкнуть его в плечо, да замер. Смотрит – в крышке от термоса чай заледенел. Термос пробкой не закрыт и на боку лежит. Да и лунку затянул льдом.

– Э, да он не заснул. Он помер.

Падают с неба редкие снежинки. И не тают на носу деда. Мотоцикл тарахтит отстраненно, как бы задумавшись.

Смерть всех настраивает на философский лад.

– Да, – сказал человек в шлеме, – вот так бы и всякому умереть на свежем воздухе, в разгар клева.

Но не было в его голосе зависти.

– Замечательная смерть, – согласился с ним человек в вязаной шапочке, – да и пора уже. Сколько ему?

– В обед сто лет.

– Что делать будем?

– А что делать? Надо участковому сообщить.

– Возьмем окуней? Зачем деду сейчас окуни? – предложил человек в шапочке.

– Вот я еще покойников не обворовывал, – сурово пресек его намерения человек в шлеме. – Садись, поехали.

Мотоцикл, тарахтя и потрескивая, покатился в деревню.

И оглянувшись на мертвого рыбака, в недоумении спросил человек в вязаной шапочке:

– Жил, жил дед Пыхто. До ста лет дожил, а зачем? Какой в этом смысл?

– Не такие умы, как мы с тобой, думали над этим, – отвечал ему суровый человек в шлеме танкиста. – тысячи лет думали, думали и ничего не придумали. Думаю, не потому, что это большая тайна. Думаю, что вообще никакой тайны и никакого смысла нет. Рождается человек, рождает, умирает. Рождается, рождает, умирает. И так снова да ладом вертится колесом. Какой в этом смысл? И в деду Пыхто, и во мне, и в тебе не больше смысла, чем в снежинке. Упала, растаяла, испарилась, вознеслась на небо, упала, растаяла, испарилась. Какой в этом смысл? Лучше об этом и не думать.

Вскоре человеческие голоса стали неразборчивыми. Удаляющийся мотоцикл трещал все глуше, все грустнее, как бы растворяясь в предзакатной морозной тишине. И когда звук затих, тишина стала такой полной, такой печальной, что выдержать ее мог один дед Пыхто, да и то потому, что был мертвым.

2

Тихая смерть старейшего на Соленом озере рыбака не наделала большого шума. Траура никто не объявлял. Дед Пыхто не был выдающимся деятелем современности. И намеченный на вечер бал олимпийцев открылся в спортзале Новостаровской средней школы в намеченный час.

Я сидел на гимнастическом коне возле шведской стенки и ждал, когда входная дверь спортзала озарится золотым сиянием, и появится девочка, которая

помогла мне стать чемпионом. Я приглашу ее на танец. На вальс. И закружу ее по баскетбольной площадке от кольца к кольцу, от штрафной площадки к штрафной площадке. И от ее золотого сияния старый обшарпанный спортзал превратится в сказочный дворец. А я буду говорить, говорить, какое она чудо и как хорошо, что я встретил ее. А потом буду ждать белый танец. И она пригласит меня...

Но шло время, а дверь золотым сиянием не озарялась.

Занавешенные зелеными сетями окна, голубой сумрак делали спортзал похожим на омут. Разноцветные пятна, скользящие по потолку, стенам и головам танцующих только усиливали впечатление. Гул голосов смешивался с музыкой. Все мои ровесники и ровесницы, самые спортивные и красивые, слетелись в этот вечер со всех сел района в одно место. Как грачи на одну березу. Мне должно было быть весело. Но ничего, кроме грусти, я не испытывал.

Ко мне протиснулся Ефим и на правах старого друга сел рядом. На шее его я заметил трехцветную ленту. Медаль была спрятана под свитером.

– А то подумают, что хвастаюсь, – объяснил он свою скромность.

– А Снежана где? – спросил я его.

Он пожал плечами и предположил:

– Должно быть, с мамкой к Пыхтяевым ушли. У них сегодня дед умер. Вот они, должно быть, и пошли бабку успокаивать. – И добавил, не задерживаясь особо на этом событии: – Зря ты ей медаль отдал.

– Почему?

– Дура она у нас.

– Почему дура?

– Потому что с Мухомором дружит.

– Кто такой Мухомор? – насторожился я.

Как-то не верилось, что на планете живет кто-то, кроме меня, достойный внимания девочки с золотым венником.

– Придурок один. Сейчас в колонии для малолеток сидит. А она ему письма пишет. Каждую среду после обеда. Дура.

– Мухомор – фамилия?

– Фамилия Обабкин. Мухомор больше подходит.

– И за что его в колонию?

– За всякое разное. Анашу курил. Петьку порезал. Директору в калоши нагадил. Классный журнал украл. Школу хотел сжечь. Залез ночью в свой класс, учительский стол бензином облил и поджег. А бутылку из-под бензина, придурок, оставил. У всей школы отпечатки снимали.

– И много сгорело?

– Стол сгорел, две парты, штора, портрет Менделеева. Если бы сторож не заметил огонь, вся школа бы сгорела, – произнес Ефим, как мне показалось, осуждая поступок сторожа.

– Троечник?

– Если бы. По интеллекту – ниже сибирского валенка.

– И Снежана с ним дружит?

– Все девчонки дуры. Этот Мухомор еще тот хорек. А девчонкам как раз хорьки и нравятся. Особенно такие хорьки, которые на гитарах играют. Только пусть попробует к дому на сто метров подойти. Из двустволки застрелю.

– Любовь, Ефим, штука сложная. И как люди воспитанные, интеллигентные, мы не должны осуждать твою сестру. Осуждать ее не за что. Мухомор, как бы мы к нему ни относились, попал в беду, а она не бросила его в беде, не предала. Твоя сестра достойна уважения.

Я хотел сравнить Снежану с женами декабристов, но сильно засомневался в дворянском происхождении и благородстве неизвестного мне, но, тем не менее, очень неприятного Мухомора.

Мне было печально. Очень печально. Но я был старше Ефима. А старшие обязаны быть справедливыми и мудрыми, должны говорить правильные слова, как бы при этом не было противно и тошно.

– Дура она, – упорствовал в своем заблуждении Ефим. – Только дура могла втюриться в Мухомора.

– Он, наверное, высокий, – попытался я взглянуть на Мухомора глазами Снежаны.

– Дылда, – угрюмо согласился Ефим.

– Красивый...

– И тупой, – не опровергая мое предположение, пополнил портрет Мухомора Ефим.

– К тому же на гитаре играет...

– Тоже мне Бетховен!

– Бетховен на гитаре не играл.

– И правильно делал. Одни придурки с фиксами на гитарах играют.

– У него фикса? – удивился я, не ожидая такой пошлости от человека, в которого влюбилась девочка первого снега.

– И наклейка на гитаре, цветочки разные, – окончательно опустил в моих глазах Ефим Мухомора.

Эта фикса и особенно наклейка на гитаре были мне неприятны. У меня пропало желание оправдывать кандидатуру Мухомора в качестве объекта первой любви.

Не знаю почему, но я сразу проникся к Ефиму благорасположением. Возможно потому, что у меня не было младшего брата. А может быть, потому что Ефим и Снежана были близнецами. А главным образом потому, что он терпеть не мог Мухомора, наверное.

Разговаривая со мной, Ефим вертел головой, встречая и провожая глазами танцующих, а кое-кого приветствуя взмахом руки. Левое ухо его было плотно прижато к голове, а правое чрезмерно, почти перпендикулярно оттопыривалось. Оттопыренное ухо придавало ему забавный вид любопытного пса. Несомненно, повод для острот и насмешек. У меня самого уши торчат радарами. Поэтому я и ношу постоянно шерстяной ринг. Не снимаю даже на уроках. Учителям говорю, что отморозил на тренировке уши, они относятся с пониманием. Всякий скажет, что чем больше и оттопыреннее у человека уши, тем лучше он слышит. Большие уши полезны. И при этом никто не хочет иметь большие уши. Почему? Потому что некрасиво. «Так что же красота и почему ее обожествляют люди?»... Полезное некрасиво, красивое бесполезно.

Я смотрел на разновеликие уши Ефима и размышлял так: правильное, конечно, для восстановления симметрии оттопырить левое ухо. Возможно, это не так красиво, но никто не будет спорить, что слух у человека с оттопыренными ушами

намного острее. Я, допустим, могу слышать, как червяк изнутри гложет яблоко. Не говоря уже о подсказках, когда стою у доски.

Но оттопырить ухо сложнее, чем прижать.

Надо бы подарить ему ринг – шерстяной обод, скрывающий уши. По себе знаю, если носить его, не снимая ни днем, ни ночью, оттопыренные уши со временем прижмутся к черепу. Да, прикрытые рингом уши слышат чуть хуже, но зато у остряков не будет повода смеяться над ним. К тому же для современного человека острый слух не так уж важен.

Я снял с себя ринг и протянул Ефиму. Мама мне новый свяжет.

– Носи, не снимая. Стильно. А если учитель сделает замечание, скажи – уши отморозил, доктор рекомендовал.

Ефим надел ринг, посмотрел на мои оттопыренные уши и сказал в восхищении:

– Классно!

Несомненно, мы – два ушастика – поняли друг друга, не вдаваясь в объяснения по поводу предназначения ринга.

– Смеются? – спросил я.

– Да нет, – отрицательно и энергично замотал головой Ефим.

– Не врешь?

– Смеялись. А потом я ушами шевелить научился. Теперь не смеются. Научить просят. Хочешь, я тебя ушами шевелить научу? Вот смотри: нужно кожу на голове натягивать. На голове мышцы неразвитые есть, их нужно развивать. Попробуй. Во! Во! Получается!

Я не стал говорить Ефиму, что умел шевелить ушами и до встречи с ним. Зачем разочаровывать человека. Пошевелив ушами, я сказал:

– А в Мухомора стрелять воздержись. Если что – позвони мне. Приеду – разберемся вместе. Запомни телефон.

– Пока позвоню, пока приедешь. Застрелю.

– Пятнадцать километров – расстояние? Не успеешь прицелиться, как прикачу. А зимой и того проще. По прямой километров восемь, не больше. Встал на лыжи и прикатил.

Действительно, от Ильинского моста до Новостаровки грейдер тянется полукругом, похожим на лук, потому что маршрутный автобус заходит в село Кривошеково. А если ехать по прямой – по тетиве – расстояние сокращается почти в два раза. Правда, дороги там нет. Но кому нужна дорога зимой? Только не лыжнику.

Мало приятного услышать, что сердце девочки первого снега уже занято. Я расстроился. Но не очень. У всех случается первая любовь. Она как насморк от простуды: через неделю проходит. У меня не было сомнений в том, что я – победитель непобедимого Сарымсакова – смогу вытеснить из ее сердца какого-то двоечника, наркомана и малолетнего преступника. Но внезапно и музыка, и цветные пятна от вращающегося шара, оклеенного битыми осколками зеркал, показались мне невыносимо скучными. Расхотелось мне шевелить ушами.

– Ты куда? – спросил Ефим.

– Пойду подышу свежим воздухом.

Я вышел в пришкольный сад, дошел до границы, за которой начиналась тишина. И когда, кроме хруста снега под моими ногами и далекого, грустного лая

собак, ничего не было слышно, натянул на голову капюшон куртки и упал спиной в сугроб, как падает комиссар на картине Петрова-Водкина.

И пока я падал, мир перевернулся, открылась бездна, звезд полна, а мне стал ясен порядок мироздания и смысл мироустройства.

Я не просто часть Вселенной. Я – Вселенная. Не было необходимости доказывать на словах самому себе открывшуюся мне картину, достаточно было чувствовать ее. Это чувство переполняло меня такой радостью, что в ней растворились все сомнения. Сама радость была смыслом и истиной. Когда я вдыхал чистый морозный воздух Новостаровки, мои легкие наполнялись звездными системами и галактиками. И псы лаяли из далеких галактик.

Я лежал на мягкой перине ночных снегов школьного сада, смотрел на небо сквозь крону яблони и чувствовал такое же звездное небо в себе. Мое небо не было отражением знакомого неба надо мной. По мере того как Млечный путь стремительно опускался, падал на меня, небо во мне увеличивалось, расширялось, – пока оба неба ни слились в одну Вселенную. Бетховенский орган сопровождал это слияние космическим аккордом, великой музыкой демиурга, создающего новый мир, новую Вселенную, которую я готов был подарить девочке первого снега. Девочке, излучающей свет. Было странно, что никто, кроме меня, этот свет не видел. Интересно, видел ли этот свет Мухомор, о котором рассказал мне Ефим? Этот мухомор, внезапно выросший из сугроба, испортил настроение. Тревожно и грустно было думать о том, как коротка жизнь первого снега в масштабах Вселенной. Микроскопические доли секунды. Всему, что красиво, грозит смерть и забвение. Все во мне протестовало против этой губительной истины. Я не хотел, чтобы снег растаял.

Послышался оглушительный хруст вселенской катастрофы. Мой новый друг Ефим, пнув меня валенком, спросил с мудростью старика:

– Ты чего в снегу валяешься? Почки хочешь застудить?

– У меня нет почек, – открыл я ему свою тайну, – я состою из звездных систем, объединенных в спиралевидные и крабовидные галактики.

– НЛО высматриваешь? – догадался Ефим и упал в соседний сугроб.

Так мы лежали в тишине, нарушаемой тихим шелестом и потрескиванием. Это провода, ветки деревьев, шерсть собак, лошадей и коров, наши одежды и ресницы, вся Новостаровка покрывались колючей, сверкающей под луной Кухтой.

Кроны яблонь превращались в алмазные паутины. При этом хаотичное переплетение ветвей обнаруживало стремление к совершенству – к форме шара. Дерево, лишненное листьев и просвеченное луной, открыло свою тайну, обнажило свое скрытое желание и внутренний смысл. Я впервые видел дерево таким, каким оно было на самом деле, а не таким, каким казалось. Дерево-галактика. Это было похоже на чудо.

И сказал Ефим, будто только что сочинил сам:

– Открылась бездна, звезд полна,

Звездам числа нет, бездне дна...

Наши незнакомые, но родственные вселенные слились в одну бесконечную общую душу-вселенную. Мы молчали, слушая, как шуршат и потрескивают, превращаясь в кухню, в морозный иней, наши дыхания. Весь мир и даже звезды из не нашей галактики были опушены сверкающими кристаллами изморози.

– А кем ты хочешь быть? – спросил Ефим.

– Еще не выбрал между врачом и архитектором.

– А как ты выбираешь?

– Ну, выбирать профессию, считаю, нужно среди занятий, без которых человечество не может обойтись. Человечество не выживет, допустим, без пищи, без жилья. Если человечество не лечить, тоже вряд ли выживет. А если детей не учить, снова превратится в обезьян и полезет на деревья...

– Ты забыл про ученых, – перебив меня, дополнил мои размышления Ефим, – я ученым стану, буду заниматься вопросами бессмертия. Я давно решил.

Так и сказал – «вопросами бессмертия». Солидно.

– А нужно ли человечеству бессмертие? – засомневался я.

Вопрос этот обидел и даже оскорбил моего нового друга.

– Про космические полеты забыл? Подумай головой: пока до обитаемой планеты долетишь, если ты не бессмертный, сто раз помрешь, – горячо выпалил он и добавил: – Знаешь, что такое человек?

– Более-менее, – ответил я, удивленный его вопросом.

Но Ефим мне не поверил и продолжал засыпать вопросами:

– А что такое дерево?

– Дерево? Это дерево, – не понял я, куда он клонит.

– Дерево – часть природы? – разочарованный моей тупостью, подсказал Ефим.

– Часть природы, да.

– А снег, а вода, а воздух, а трава, а корова?

– Корова – тоже часть природы, – согласился я.

– А человек – часть природы?

– Часть.

– Ага! – обрадовался Ефим тому, что наконец-то до меня дошло, что такое человек, и тут же снова поставил меня в тупик очередным вопросом: – А какая цель у коровы?

– Молоко дает, – предположил я, сильно сомневаясь в правильности ответа.

– Она траву ест и землю навозом удобряет, – поправил меня Ефим. – А какая цель у деревьев?

– Тень дают. Углекислый газ в кислород перерабатывают. И вообще – легкие планеты.

– Правильно, – удивился Ефим тому, что я не полный идиот. – А для чего нужен в природе человек? – и, не полагаясь на мои умственные возможности, поделился своими соображениями: – Природа через человека думает. Природа через человека открывает разные законы, изобретает всякое и творит.

– Иногда творит, иногда вытворяет, – вставил я свою лепту в его размышления о предназначении человека.

– Люди разные бывают, – согласился новостаровский философ, – одни понимают, что они часть природы, а другие не понимают и черти что о себе воображают. Правильный человек, который понимает, что он тоже природа, задумается, для чего он нужен, какая у природы через него цель. Думай, не думай, а цель одна – бессмертие. Без бессмертия ты ничего с космосом не сделаешь.

Но я продолжал сомневаться:

– Да, люди бывают разные. Кому, например, нужен бессмертный Гитлер?
А Мухомор, которого ты хочешь пристрелить?

Ефимка смутился, но быстро нашелся:

– Бессмертными нужно делать только хороших людей, а плохие постепенно вымрут сами собой.

– А как ты отличишь хороших от плохих?

Стало слышно, как в голове у Ефимки ворочались, поскрипывая, мысли.

– Да очень просто! Все будут сдавать экзамены.

– Ну да. Проще некуда. И как ты представляешь себе эти экзамены?

Мое занудство стало надоедать моему оппоненту.

– А ты что – ни разу экзамены не сдавал? – удивился он.

– А кто будет принимать эти экзамены? – не унимался я. – Как ты это представляешь? Аттестат об окончании Новостаровской средней школы: пение – 5, физика – 4, химия – 3, бессмертие – 2?

– Вот прикопался, – удивился моему занудству Ефим и объяснил доступно:

– Люди почему плохими бывают? Потому что мало живут. Все успеть хотят, пока не состарятся, вот и лезут везде без очереди, толкаются. А когда они станут бессмертными, зачем им быть плохими? Все успеют, зачем в очереди толкаться. Сам своей головой подумай.

– Может быть, ты и прав, – согласился я, – но если все станут бессмертными, всем на Земле места не хватит.

Ефимка фыркнул с презрением.

– Поди, не одна Земля в космосе. Вон сколько звезд на небе. А планет еще больше.

– Если твои бессмертные не будут умирать, значит, они и болеть не будут, – осенило меня.

В этом у Ефимки сомнений не было.

– Нет смысла становиться врачом, – сделал я вывод для себя. – Спасибо, что предупредил. Буду архитектором. Кому-то надо думать о домах для бессмертных космических переселенцев. И когда же бессмертие наступит?

– Ну, вот считай, – прикинул Ефимка, – нужно школу закончить, институт, ну еще лет пять прибавить на исследования, на испытания... Испытания можно сократить, я эксперименты на себе проводить буду, не считая мышей. Лет через 15-20...

– А если не придумаешь, как людей бессмертными сделать?

Ефимка помолчал, встал из сугроба белым приведением, оглядел окрестность и, убедившись, что нас никто не подслушивает, сказал тоном ниже:

– Я уже придумал. Немножко додумать осталось. Пустяки.

– И как?

– Так я тебе и сказал, – хмыкнул Ефимка, – нашел дурака.

– Слушай, ты про мышей говорил. Животных ты тоже собираешься бессмертными сделать? Как ты собираешься есть бессмертных куриц?

Ефимка задумался и сказал нерешительно:

– Ну, может быть, собак. Отдельных. Кое-кого из кошек. Коров-рекордисток. Всех, пожалуй, не стоит. Расплодятся – всех кусать, бодать, лягать начнут. Деревья, пожалуй, можно сделать бессмертными. Вон секвойи тысячи лет растут – и ничего, никому не мешают. Срубишь дом из бессмертных сосен, а он потихоньку растет. Дети растут, и дом растет. У каждого своя комната...

– А как ты думаешь, – прервал я его мечты об отдельной комнате, – если люди будут бессмертными, возможна ли бессмертная любовь? Могут ли два человека любить друг друга тысячи лет?

Ефимка презрительно фыркнул. О таких пустяках он и думать не хотел.

– Домой надо, – сказал озабочено, – а то мамка, небось, волнуется.

3

Мама постоянно внушает мне, что я особенный.

Да, я особенный, но не особенно горжусь своей особенностью.

Свою особенность я тщательно скрываю от посторонних и близких людей.

Когда о человеке говорят, что он не такой как все, в этом есть что-то ненормальное. Что-то от теленка с двумя головами.

Мама говорит, что и отец мой был особенным. Я о нем почти ничего не знаю, но охотно верю. Однако, судя по тому, что вижу в зеркале, когда по утрам чищу зубы, красавцем он не был.

Мама говорит, что отец мой умер на взлете, студентом, которому пророчили великое будущее. Он утонул, спасая щенка. А с ним утонули великие открытия, которые могли бы осчастливить человечество.

Не знаю, насколько великим был мой отец, но люди, которые рискуют жизнью, спасая животных, мне нравятся. Людей, которые пинают собак, я вообще за людей не считаю.

А мама у меня святая.

Иногда мне кажется, что отца у меня вообще не было. Иногда я думаю о непорочном зачатии. Если бы вы знали мою маму, мои слова не показались бы вам кощунством.

Маме хочется, чтобы я тоже, как мой легендарный отец, подавал великие надежды.

Да. Я особенный.

У меня в отличие от всех знакомых мне людей сердце справа.

Об этой особенности знает лишь мама и терапевт Генрих Петрович, который умеет хранить врачебные тайны.

Особенных никто не любит. Особенно дети.

Но когда мама говорит, что я особенный, она имеет в виду не мое ассиметричное сердце.

Мама задалась целью сделать из меня живой памятник моему отцу, воспитать всесторонне развитую, во всех отношениях гармоничную личность.

Современного Леонардо да Винчи.

Не скажу, что она в этом преуспела.

Да, я могу читать ноты и брэнчать на рояле. Стены нашего дома увешаны моими акварелями, полки заставлены моделями самолетов и кораблей. Но ни в чем, исключая, пожалуй, выпиливание лобзиком узоров на фанере, особой гениальности я не обнаружил.

Когда, вернувшись домой чемпионом Новостаровской олимпиады, я рассказал маме, что встретил девочку, от которой исходит золотое сияние, и на которой я непременно женюсь через пять лет, мама сильно испугалась. Она сказала:

– Опасно относиться столь серьезно к первой любви.

– Это не первая любовь, – утешил я ее, – первая любовь у меня была в детском садике. Ее звали Айгуль, и любил я ее сильнее, чем паровозик, который подарила мне бабушка. А она полюбила меня из-за паровозика. Правда, паровозик я ей так и не подарил. Если подсчитать, это моя третья любовь, считая паровозик, конечно. Первая любовь, вторая, третья, десятая, сотая... Бред какой-то! После второй начинаешь сильно сомневаться: а бывает ли она вообще? Любовь, как рождение, как смерть, может быть только одна. Единственная. Как у тебя. Ты согласна?

Мама смутилась. Но сдаваться не собиралась:

– А ты уверен, что это она, единственная?

– Уверен. Но если ошибаюсь, у меня есть время проверить. Пять лет.

– В тебе играют гормоны, – не унималась мама, – в этом возрасте путают любовь с влюбленностью. Слепым влечением.

– Нет, нет – это не слепое влечение! У меня нет к ней никакого влечения, и гормоны здесь ни при чем. Эта девочка слеплена из первого снега, и она светится, представляешь? Она для меня не просто девочка. Она как сама природа. Такая ясная, такая спокойная. Понимаешь? Мне трудно это объяснить. Это невероятная удача, что я встретил ее. Она создана для меня. Только для меня. И она похожа на тебя. И внешне, и внутренне.

– Светится? – переспросила мама. – Ах, да! Я тоже слышала, что где-то в том районе геологи открыли залежи урана.

Я нахмурился и сказал твердо:

– Есть вещи, над которыми не шутят.

Она погладила меня по голове, извиняясь, и спросила:

– И другие видят, как она светится?

– Какое мне дело до других, – отвечал я сердито, – у всех глаза по-разному устроены.

– Встретить настоящую и единственную любовь – большая редкость. И большая беда, – сказала мама печально и очень серьезно, – а если это к тому же первая любовь, она, скорее всего, закончится катастрофой. Надеюсь, девочка не ответила тебе взаимностью?

– Просто она меня еще не знает, – бодро сказал я, – в меня невозможно не влюбиться. Вот познакомлю ее с тобой – и она влюбится.

– Ты ей не понравился? Это хорошо, – успокоилась мама.

Ее тревоги нетрудно понять. Я появился на свет, когда мама была еще совсем девочкой. Она – легко подсчитать – родила меня в шестнадцать лет. Это была единственная, настоящая и к тому же первая любовь.

А катастрофой был я.

Но она не избавилась от меня. Я был все, что оставалось у нее от первой и единственной любви. От отца даже фотографий не осталось. Ничего, кроме меня.

Мне трудно представить, что она перенесла из-за меня. Но это не только не сломило ее, но сделало сильнее. Она сдавала экзамены за курс средней школы на последних сроках беременности. Представляю, как смотрели на нее одноклассники. И что говорили. А когда я чуть-чуть подрос, она поступила в институт. Конечно, ей помогала бабушка.

Но она никогда не предавала своей первой любви. Эту любовь она перенесла на меня. Я был ее единственным мужчиной. Но любила она во мне моего легендарного отца и хотела сделать из меня его копию.

Не помню, чтобы когда-нибудь я ничего не делал. Я всегда, каждую минуту был занят чем-то. Возможно, так хотела мама. Возможно, в этом были виноваты гены моего безвременно погибшего отца. Возможно, это происходило само собой. Без всякого умысла. Когда мне исполнилось пять лет, бабушки не стало, и мама повсюду водила меня с собой. От меня требовалось лишь одно – не капризничать и сидеть тихо.

Мама работала директором и долгое время единственным преподавателем Ильинской музыкальной школы. Здание школы с большими окнами и резными наличниками старожилы называли поповским домом. Особняк из красного кирпича под железной крышей с палисадником, в котором густо теснились дикоросы: рябина, черемуха, боярышник, несколько берез и даже дикая вишня. Подняться на высокое крыльцо было для меня подвигом. Классы были пропитаны особым духом и запахами уютной старины, отстраненности и благообразия. Особенно мне нравился пол, на который падали теплые, золотые лучи света из окон, а на невероятно широких половицах шевелился узор листьев. Поначалу я тихо сидел в уголке, слушая вымученные гаммы учеников и наставления мамы. Но постепенно и без всякого принуждения стал на переменах брэнчать на рояле и пиликать на скрипке. И стал не то что учеником, а вольнослушателем. Мама очень скоро поняла, что Рихтера из меня не получится. И это ее не особенно расстраивало. Она хотела, чтобы из меня вышел великий ученый, который на досуге пиликает на скрипке, а со временем осчастливит все человечество. Или на худой конец художник, которому великие люди будут заказывать свои портреты. Если великий ученый к тому же играет на скрипке, что в этом плохого? Во всяком случае, я умею читать ноты и довольно складно брэнчать на рояле собачий вальс. Я могу смотреть на лист с нотами и слышать музыку.

Потом, когда я подросток, мама отвела меня во дворец пионеров. В кружок юных астрономов, который вел суровый седобородый старик Виктор Николаевич, похожий на знаменитого скульптора Коненкова. Круглые очки с толстыми линзами и густые включенные брови придавали его лицу удивленное, свиное выражение. Виктор Николаевич привил мне особый, астрономический взгляд на мир, взгляд из глубины космоса на нашу солнечную систему. Он говорил: чему по-настоящему учит астрономия, так это скромности. А еще он часто повторял: «Ты не зубри. Ты думай. Учиться – значит учиться думать». Когда я пришел, кроме меня кружок юных астрономов насчитывал три человека. Это вовсе не означало, что в нашей школе не интересовались мирозданием. Малочисленность астрономов объяснялась очень просто: в кружке не было самого главного – телескопа. И мы с Виктором Николаевичем этот телескоп делали сами. Особенно мне нравилось то, что не нравилось никому, – шлифовать увеличительные стекла. И мы этот телескоп сделали и ночами выходили любоваться горными системами и кратерами на Луне.

С появлением телескопа кружок астрономов стал пользоваться популярностью, но я незаметно для себя переметнулся в кружок «Умелые руки». Его вел Шарип Идрисович, человек с лысой и идеально шарообразной головой, который плохо говорил по-русски, но научил меня многим полезным вещам. Я могу забить сто гвоздей подряд и ни один не погнуть. Секрет проще не бывает: нужно, чтобы локоть оставался на одном месте. Элементарно. Могу наточить нож о доньшко фарфоровой чашки. Могу склеить фарфоровую чашку, случайно разбитую при

заточке ножа. Развести зубья пилы и ножовки. Могу пользоваться инструментами – от лобзика до рубанка. Могу по чертежам собирать модели кораблей и самолетов. Особенно мне нравилось выпиливать лобзиком узоры на фанере. Мало что на свете приятнее запаха дерева, нагретого трением.

Я с удовольствием и дальше выпиливал бы полочки из фанеры, но во дворце пионеров появился художник с забавной фамилией Кроль. Мама настояла, чтобы я записался в кружок юных художников. Странно: почему юных? Какая разница – юный художник или старый, если он художник? Но страннее всего была прическа у Кроля – совершенно женская: волосы он заплетал в косичку. При этом имел окладистую бороду и усы, торчащие параллельно полу. Его прозвали бароном Мюнхгаузенем. Эдуард Генрихович поругался с женой и, назло ей, уехал из областного центра в наше захолустье. В кружок юных художников я ходил почти год. До тех пор, пока художник помирился с женой и вернулся в город. Уезжая, он отвел меня в сторонку и доверительно сказал, что Куинджи из меня не получится. И лучше будет, если я потрачу время на обучение другому ремеслу. За что ему отдельное, искреннее спасибо. Во всяком случае, я знаю законы перспективы. Знаю даже, что такое обратная перспектива. И знаю, какие краски и в каких пропорциях нужно смешать, чтобы получить нужный цвет.

Физическое совершенство входит составной частью в понятие всесторонне развитая личность, поэтому мама никогда не возражала против занятий спортом.

Фотограф при быткомбинате Лев Николаевич Сатунян был великим тренером, судьба которого сложилась так, что он вынужден был прозябать в нашем захолустье. Но он не был угнетен этим. Ни разу не видел я на его лице выражения досады или разочарования. Впрочем, на лице его трудно было различить какое-либо выражение. Он носил окладистую бороду, усы и прическу великого тезки – Льва Николаевича Толстого. А что касается глаз, они всегда светились счастьем первооткрывателя.

Лев Николаевич открывал великие спортивные таланты. Чего-чего, а этого добра в нашем не испорченном цивилизацией краю хватало в избытке. Народ был крепким, мясистым, воспитанным на парном молоке и экологически чистой картошке. А главное – не выпендривался и слушал тренера.

Мне он сразу определил стезю: «Особых данных у тебя нет, но есть терпение и выносливость. Ты должен заниматься видами спорта, которые требуют этих качеств: бегом на длинные дистанции, лыжами, коньками, спортивной ходьбой, плаванием». И я побежал. Во время нашего короткого лета, дополняя бег плаванием и греблей на байдарке. Украдкой от мамы и Льва Николаевича записался я также в секцию бокса. Впрочем, Лев Николаевич не возражал, заметив на моем лице следы первых поединков, сказав, что мужчина должен уметь драться, независимо от того, есть ли у него талант или нет. Мама, пересилив себя, с таким аргументом не сразу, но согласилась.

Будучи участником художественной самодеятельности, Лев Николаевич страстно мечтал сыграть в спектакле своего тезку. Уж больно он был похож на него. К сожалению, режиссеру народного театра «Целинные зори» Петру Петровичу Петрову подобная пьеса на глаза не попадалась. И тогда Лев Николаевич, фотограф быткомбината, великий тренер и актер народного театра, решил сам написать пьесу, главным героем которой был бы его великий тезка. С писателем он расходился лишь по одному вопросу. Лев Николаевич считал ошибочным те-

зис о непротивлении злу насилием. Этой теме и была посвящена будущая пьеса. К тому времени, когда я встретил его, сочинял он ее уже много лет. И никак не мог поставить последнюю точку. Встретив знакомого на улице ли, в доме ли культуры, у себя в фотоателье или в гостях, он ловил несчастного человека за пуговицу и слегка придерживая, подробно рассказывал, как продвигаются дела с пьесой. И чем больше рассказывал, тем дальше отодвигалось ее окончание. И многие, многие в этих беседах лишились пуговиц.

Я думаю, что и Виктор Николаевич, и Шарип Идрисович, и Эдуард Генрихович, и Лев Николаевич – суровые, не умеющие сюсюкать мужчины – все вместе были для меня чем-то вроде коллективного отца. Во всяком случае, я не чувствовал себя обделенным сиротой. С меня было достаточно маминых рассказов о короткой и славной жизни моего биологического отца.

Но жизнь полна сюрпризов.

В тот день из низкого серого неба падал сухой, колючий снег. Ровным слоем накрыл он следы вокруг хоккейной коробки, но на льду не было ни одной снежинки. Такие страсти кипели на площадке.

У бортика, появившись ниоткуда, стоял единственный зритель, словно замороженный ором и перестуком клюшек. Стоял он неподвижно, и только глаза поворачивались вслед за шайбой.

Человек был одет в осеннее, приталенное пальто в крупную коричневую клетку. Концы красного шарфа, удавом обернувшегося вокруг шеи, свисали чуть ли не до земли.

На человеке не было шапки.

Я впервые видел в нашем северном краю в это время года человека без шапки.

На его пышную артистическую шевелюру падали снежинки, образовав нечто вроде белой тубетейки.

– Привет. Хорошо играешь, Рябчик, – остановил он меня, когда, переодевшись, я направился домой. – Нам нужно поговорить.

– О чем?

– Вообще-то я приехал поговорить с твоей мамой, но прежде решил встретиться с тобой. Кстати, кем работает твой отец?

– Вы тренер из города? – догадался я.

Не ответив, он спросил:

– В вашем городе есть кафе? Так кем работает отец?

– Есть ресторан «Колос». Вечером ресторан, днем столовая. А отца у меня нет.

– Прекрасно.

Странно. Что прекрасного в том, что у человека нет отца?

У меня было смутное чувство, что где-то я уже встречал незнакомца.

В зеркале гардеробной я увидел одновременно его и себя. И вспомнил, где я его видел. В зеркале. Каждое утро, когда чищу зубы.

За столиком он достал из кармана пиджака – тоже в крупную коричневую клетку – сложенную вчетверо областную газету, не спеша, развернул, разглядел и ткнул пальцем в заметку «Олимпийская надежда на льду Новостаровки».

– О тебе пишут. Возьми на память.

– Вы из газет? – перенял я его манеру спрашивать, не отвечая.

– Не совсем.

И тогда меня осенило:

– Вас зовут Георгием.

– Да, – слегка растерялся он. – Ты читаешь мысли?

– Фамилия у меня мамина, а отчество Георгиевич.

– Прекрасно, – сказал человек, – прекрасно. Ты избавил меня от долгого и неловкого объяснения.

Наш столик стоял у окна.

Из этого окна, обрамленного парусами штор, наш маленький городок выглядел уютным и непривычно красивым. Он, сохраняя умиротворяющую неподвижность, тихо и бесшумно взлетал вверх.

Все дело в снегопаде.

Снегопад великий гипнотизер.

Он создает настроение уюта и отрешенности, когда смотришь на падающие снежинки из теплого помещения.

– Тебе я закажу клюквенный морс, а себе что-нибудь покрепче. Надо согреться. И по бифштексу. Как ты на бифштекс смотришь?

На бифштекс я обычно смотрю с хищным вожделием.

Подошла официантка. Приняла заказ. Смотря ей вслед, мой особенный, внешне воскресший отец сказал, размышляя вслух:

– У женщины, которая безразлична тебе, ушная раковина всегда имеет какой-то недостаток. Ухо то слишком большое, то слегка оттопыренное, то чрезмерно розовое, то мочка отвисает. Ухо любимой женщины всегда совершенно. Но, когда ты начинаешь замечать в ухе любимой женщины какие-то недостатки, это плохой знак. Очень плохой. Все начинается с уха, а затем с нее постепенно облетает волшебство, очарование. Как листья с дерева. Ты начинаешь замечать, как в лице ее, в фигуре появляется что-то неприятное, отталкивающее...

– У моей мамы уши соразмерные, – прервал я его.

– Об этом и речь. За всю жизнь я так и не встретил более совершенного уха.

– Почему же вы расстались? У вас тоже вроде уши соразмерные. Хотя и немного оттопыренные.

– По глупости, – сказал он, хмыкнув, и добавил без раскаяния: – По моей глупости.

– А я?

– Я даже не подозревал о твоём существовании, пока не наткнулся на эту заметку. Поверь. Да, вернуться бы ненадолго в прошлое и хорошенько набить себе морду. Но, увы, стрела времени не возвращается вспять.

Зря он добавил это слово «поверь». Совершенно лишнее слово. Я подумал, что набить себе морду можно и не возвращаясь в прошлое, но, неожиданно для себя перейдя на ты, спросил о другом:

– Кем ты работаешь?

Он пошевелил бровями. Брови собирались взлететь, но размаха и сил не хватило.

– Так ли уж это важно? – спросил он, снова хмыкнув.

Я молчал. Брови его взлетели, но невысоко. И сели, как курицы на шесток. Он вздохнул и ответил:

– Я работаю помощником одного очень важного человека. Он настолько занят важными делами, что ему некогда следить за текущими событиями. Я готовлю для него ежедневный обзор основных газет и телепередач. Общественно, разумеется, политических. У меня свой кабинет, в котором постоянно работают два телевизора и радио. Каждое утро библиотекарьша заносит мне кипу свежих газет. Я буквально купаюсь в море новостей. Моя задача процедить сквозь свои мозги массу информации, отцедив крупницы важных событий. Отцедив, процедив... Ну, не важно. Я не скажу, что в восторге от своей работы. Но она дает ряд преимуществ...

Ему было неприятно говорить о своей работе, да и я не получал от его желчного и слегка циничного тона большого удовольствия.

– У тебя есть семья? – перебил я его.

Брови снова попытались взлететь, и он ответил:

– Конечно.

Мне хотелось спросить об ушах его жены, но я пожалел его и задал вопрос, который действительно меня интересовал:

– Почему ты ходишь без шапки?

– Студенческая привычка, – ответил он с облегчением и добавил: – Я хотел бы поговорить с твоей мамой. Ты не возражаешь?

– Поговори, – разрешил я, – только про уши ничего ей не рассказывай. И о том, что со мной встретился, тоже не говори.

– Почему? – спросил он деловым тоном.

– Она всегда говорила, что ты особенный. Что ты подавал великие надежды и тебе пророчили мировую славу. Но ты трагически погиб на третьем курсе, спасая тонущего щенка. Она не захочет разочаровывать меня и травмировать мою хрупкую юношескую психику.

– Сарказм – это хорошо, – печально сказал мой воскресший отец, – за этим можно укрыться.

Он вздохнул, долго смотрел в окно на снегопад и сказал отвлеченно:

– Что бы ты ни делал, ты совершаешь ошибки. Даже если ничего не делаешь.

Подумал и уточнил:

– Тем более, если ничего не делаешь.

Судя по тону, мой воскресший отец был человеком великодушным: он легко прощал себе все. Даже то, что, по моему мнению, прощать нельзя.

Следуя совету древних философов – все в меру – я подавил искушение спросить воскресшего родителя об обстоятельствах его встречи и расставания с мамой. Доза разочарования на один день была и так чрезмерной.

К тому же пришла официантка с подносом. А я воспитан мамой в старых правилах, одно из которых: когда я ем, то глух и нем. Конечно, это слегка странно: встретившись с воскресшим отцом, молча поесть бифштекс. В свое оправдание могу сказать, что в ресторане «Колос» готовят очень вкусные бифштексы. Называются они «Целинными». Будь я кулинаром, непременно сообщил бы рецепт. Но объясню, как могу. Это котлета, запеченная в яичнице. Кстати, уши у официантки, хотя и не отличались особым изяществом, но и отталкивающего впечатления не производили. Уши как уши.

Я не знаю, встретился он с мамой или нет.

Он исчез так же внезапно, как и появился. Растворился в снегопаде.

У мамы я, естественно, спрашивать не стал.

Но по некоторым признакам, полагаю, встреча состоялась, а чем она завершилась, догадаться несложно. Чудо воскрешения в наше время непопулярно и смахивает на мошенничество.

Есть такие тайны, о которых нельзя рассказывать даже близкому, самому близкому человеку. Я понимал маму, сочинившую для меня легенду о гениальном и добром отце, утонувшем, спасая бездомного щенка, но сам попал в довольно неловкое и странное положение.

Странность моего положения заключалась в том, что я узнал мамину тайну, но в свою очередь ее тайна стала моей. И этой тайной я не мог поделиться ни с кем. И в первую очередь с ней. Рассказать ей о встрече с отцом означало обвинить ее в том, что пятнадцать лет она обманывала меня. Заслуживает ли она это?

Мне трудно все это сформулировать. Странность моего положения заключалась еще и в том, что я не просто узнал мамину тайну, а сам был частью этой тайны.

Пусть ее тайна остается ее тайной, а моя – моей. В конце концов, из двух отцов – мертвого и живого – мне больше нравится тот, о котором мне рассказывала мама.

4

На следующий день после того, как воскрес и снова ушел в небытие мой отец, позвонил Ефим. Мы договорились встретиться в воскресенье в новостаровском бору возле пожарной вышки. Я прикинул время на дорогу. Расчеты осложнялись тем, что предстояло проложить лыжню от Ильинки до Новостаровки по прямой через степь на правобережье. Но состояние снега в том краю я не знал. Одно дело – твердый наст или пухляк, другое – тяжелый, слежавшийся снег с хрупкой корочкой, который нужно даже не протаптывать, а проламывать.

– Ориентируйся на десять-одиннадцать часов. Если запоздаю, подождешь, – сказал я и спросил: – Ничего такого не случилось?

– Сократ помирает, и Снежанка сопливит. Все малиновое варенье съела. А так все нормально, – степенно отвечал Ефим.

Как выяснилось, Сократом звали кота.

Узнав, для чего и для кого мне нужно варенье, мама отлила из трехлитровой банки в пол-литровую густую бордовую массу, тщательно закрыла пластмассовой крышкой и сказала: «В рюкзаке повезешь? Надо бы чем-нибудь мягким обмотать, чтобы не разбить. Возьми мой старый шарф».

В воскресенье я вышел из дома затемно. Сокращая путь, пробежал через парк до реки, а когда поднялся на правый берег, очень обрадовался – наст! Что может быть лучше? И лыжни пробивать не надо, куда хочешь, туда и катись.

Наст был покрыт легкой порошей и приятно шуршал под лыжами. Я сразу же сменил классический ход на коньковый и полетел, словно под парусами, постепенно ускоряясь, навстречу восходу. Оставляя за собой на снежном панцире легкие царапины.

Но восход в тот день так и не наступил. Небо было низким, мглистым, будто земной шар был упрятан в снеговую пещеру. Плотные облака создавали, с одной стороны, уют, а с другой – вызывали беспокойство, ожидание то ли снегопада, то ли метели. А скорее и того и другого – бурана.

Лыжи сами несли меня по невидимой тетиве. И тетива гудела. Один конец тетивы был привязан к стволу старой березы на берегу реки, а другой – к пожарной вышке, торчащей на вершине сопки. Палки повизгивали, втыкаясь в плотный наст. Я чувствовал себя пожирателем пространства, поднимающим ветер.

Но в бору наста не было. Снег был пушистым и легким. Я перешел на классический ход и лавировал между сосен, из-за которых не было видно вышки, стараясь сохранить направление. А когда пересекал поляну, из-под снега прямо перед лыжами выпорхнули три куропатки. Белые, как вылепленные из снега. И этот внезапно оживший снег перепугал меня.

У вышки Ефима не было. Я добежал слишком быстро. Не останавливаясь, я покатил дальше. Разминуться я не опасался, поскольку моя лыжня была единственной. Ефим по ней легко мог меня найти.

Я пересек бор. На открытом пространстве снова лежал наст. Я перешел на коньковый ход, высматривая Ефима.

Белые крыши, сугробы вдоль плетней, вертикальные белые дымы над трубами, одиночные сосны у домов – Новостаровка покорила меня древней, тихой и слегка грустной красотой. Но особенно красиво было кладбище, которое я вначале принял за сад. Странное это было чувство. Будто выехал я из Ильинки сегодня, а прикатил в Новостаровку лет на сто назад.

Проехав мимо территории вечного покоя, я остановился, гадая, из какого переулка появится мой друг и, как я надеялся, будущий родственник Ефим.

Но первым заметил меня Ефим. Он засвистел и замахал руками. Я подкатил к нему. Вместо лыжного комбинезона на нем была овчинная шубейка, перепосанная солдатским ремнем. Лыжи ремненными креплениями пристегнуты к валенкам. Бамбуковые палки с огромными кольцами. Шапка с ушами, завязанными назад. За плечами ружье. На прикладе ножом вырезана дарственная надпись: «Внуку Ефиму от деда Ефима». Должно быть, из него он и собирался застрелить Мухомора. Желание для человека, решившего посвятить свою жизнь поиску бессмертия, довольно странное.

– Вот блин корявый, – вместо приветствия сказал Ефим, отдуваясь, – хотел зайцев погонять, да ремни сопрели, на правой крепление лопнуло. Ты зайцев в бору случайно не видел?

При этих словах правая лыжа выскользнула из-под него и покатилась вперед самостоятельно.

– Что же ты не сказал, что у тебя лыжи из прошлого века, – упрекнул я его, поймав беглянку, – я бы тебе свои старые лыжи привез.

– На ботинках? – с надеждой спросил он.

– Конечно. Утепленные.

– Поди, размер большой, – забеспокоился он.

– На пару носков наденешь – как раз будут.

– У меня собачьи носки есть. Собачьи надену, – решил Ефим.

И мы покатали к дому Ефима чинить крепления. Я держал лыжу на плече, а Ефим, отталкиваясь свободной ногой, катил на оставшейся лыже. Как на зимнем самокате.

Дом Пановых стоял на берегу Соленого озера под самой старой в деревне сосной с обломанной верхушкой. Судя по возрасту дерева, можно было предположить, что именно с этого дома и начиналась Новостаровка. Сосна словно

прикрывала его от дождей, снегов и ветров большой лохматой лапой. Строению было все сто, а может быть, и больше лет. Его сложили из циклопических сосен реликтового бора, возможно, из тех, что выкорчевали именно здесь, расчищая место для построек и огорода. Возможно, для оставшейся сосны были они почившими сестрами. Дом был сложен прочно, надежно и безыскусно. Выглядел он слегка сурово, если не сказать угрюмо. Был в нем древний, упрямый старообрядческий дух. Наверное, здорово жить в старом бревенчатом доме и, просыпаясь каждое утро видеть в окнах большое, как море, озеро, уходящее за горизонт, и Большую вечнозеленую сопку с лысинкой полянки на макушке.

Лохматый пес преклонного возраста с медвежьей мордой и неуклюжестью тюленя вопросительно посмотрел на Ефима, на меня и сказал вопросительно:

– Р-р-рафр-р-р-р?

Что, мол, делать с чужаком, маленький хозяин, загрызть насмерть или хвостом для вида повилать?

– Цыц, Потапыч! – ответил Ефим.

– Афр-р-р-р, – обиделся пес и с видом существа, которому наплевать на все, отправился в будку.

Даже хвостом не вильнул.

Крытый двор со стенами, выложенными березовыми поленьями, пропах соломой, коровой и мерзлой землей.

Двери дома, сколоченные прочно и безыскусно, растворились, и на крыльцо как бы из прошлого века вышла женщина средних лет. Все в ней – шаль, шубка, валенки, даже сами движения – мягко пушились и слегка светились добротой.

– Что морозиться-то. Шли бы в дом, – сказала она пушисто, ответив на мое приветствие, но, увидев ружье за спиной Ефима, добавила суровым, колючим голосом: – Это что такое? Кто разрешил?

– Здравствуйте, – удивился Ефим, – кто разрешил. Ружье-то мое.

– Поговори мне. Мое. Нашел игрушку. Вот возьму и в проруби утоплю.

– Да оно без патронов, – пошел на попятную Ефим.

Разговор принимал неприятный поворот. Я вытащил из рюкзака банку варенья и протянул женщине:

– Вот, мама для Снежаны передала.

– А ты чей же будешь? Уж не Зубарев ли? – снова запушилась она добротой и посмотрела на меня ясными, спокойными глазами Снежаны.

Банка малинового варенья в ее руках осветилась изнутри рубиновым сиянием.

– Снежанкин жених. Снежанку сватать приехал, – без спроса встрял в разговор ехидный Ефим.

Я представился и успокоил Снежанину маму, сказав, что обязательно попрошу у нее руки дочери, но не раньше, чем через пять лет.

Слова мои рассмешили ее. Она открыла дверь и крикнула:

– Николай, Николай! Зятя встречай.

Из дома, накинув на плечи фуфайку, вышел коренастый мужчина, отдаленно напоминающий актера Леонова. На ногах его были войлочные тапочки. Он пожал мне руку и спросил сына:

– Что, Ефимка, на охоту собрались? И охота морозить нос?

С таким лицом, как у дяди Коли, охотников не бывает. И он тут же подтвердил мои предположения, сказав:

– У меня одна охота – с книжкой на диване полежать, про Дерсу Узалу почитать.

– Ты бы сказал ему, чтобы с ружьем не баловался. Далеко ли до беды, – попыталась направить разговор в серьезное русло мама.

– Да что он, маленький, что ли, – удивился дядя Коля. – Я в его годы...

Но, встретившись глазами с мягкой, пушистой женой, солидно кашлянул в кулак и сказал:

– Ремешок порвался? Заходите в дом, починим. Где же у нас суровые нитки?

Очень тревожное чувство испытал я в первые секунды встречи с родителями Снежаны. Девочки, излучающей свет. Я бы не назвал это разочарованием, просто трудно поверить, что такое неземное существо произвели такие земные люди. Легче было поверить, что ее слепили из снега. Из первого снега.

Лицо Снежаны скрывала марлевая паранджа. Видны были только глаза. Они сияли из-под золотистой челки страданием и беспокойством.

Но страдала и беспокоилась она за сибирского кота Сократа. Страдание это правильное было бы назвать состраданием.

Сократу по человеческим меркам было больше ста лет. Недавно он тяжело заболел: ослеп, ему отказывали ноги. Ходил он кругами, широко расставляя задние лапы. Как будто на плохо наточенных коньках раскатывался после старта.

Сократ не понимал, что ослеп, что умирает. Он не понимал, кто его держит за ноги, и сердился, оглядываясь. В темных незрячих глазах инопланетянина не отражалось ничего. Но он редко натякался на стены и мебель. Не потому, что усы служили ему радарам. Снежана сидела на полу и, поддерживая Сократа полотенцем, направляла его движение.

– Зайцев стрелять собрался? – спросила она Ефимку с осуждением и слегка в нос. – Что они тебе плохого сделали? Стреляй, стреляй – все равно промажешь, браконьер.

– Ой, тоже мне Наташа Ростова сопливая, кошачья мать Тереза, – отвечал Ефимка, обидевшись.

Посмотрела на него Снежана с состраданием и пригрозила:

– Вот возьму и кашляну на тебя, тогда будешь знать.

– Я твоих вирусов не боюсь, – отважно отвечал Ефим, отступая на шаг.

Не знаю как, но, слушая пикировку брата и сестры, я вдруг обнаружил в себе опасный дар читать чужие мысли. Не зайцы, не вирусы были причиной столкновения. Из этой короткой, ничего не значащей перепалки я понял, что Снежана ведет дневник, заполняя общую тетрадь аккуратным почерком отличницы. Но на днях Ефимка сунул свой любопытный нос в эту тайну тайн. И Снежану очень расстроил и оскорбил этот поступок. А Ефимка, хотя раскаивается и стыдится, но считает ниже достоинства признаться в этом и попросить прощения у сестры.

Но я был не только человеком, читающим мысли. Я был еще и пророком, потому что знал: через пять лет Снежана покажет мне записи, которые не доверяла никому, даже маме, – и мне откроется ее удивительный внутренний мир, потрясающий глубиной и красотой души.

Я даже знал, куда перепрятала от Ефимки свой дневник Снежана. По мерцанию, которое исходило из-за двойного портрета родителей.

Мы починили крепление, но ненадолго задержались: Ефимке вдруг загорелось показать мне свою коллекцию спичечных этикеток.

Потом Ефимка предложил сыграть в шахматы, при условии, что он будет играть с завязанными глазами, демонстрируя свою уникальную память.

Мы сыграли, и он проиграл. Это его сильно удивило и вызвало большие подозрения.

– А ты все ходы правильно называл? – спросил он и предложил: – Давай еще раз сыграем без повязки.

Сыграли еще раз, он снова получил мат и предложил сыграть в шашки. Потом мы сыграли в «Чапаева». Смысл этой интеллектуальной игры заключается в следующем: нужно, щелкнув по своей шашке, выбить с доски шашку противника, но так, чтобы твоя шашка осталась на доске.

– А что мы дома-то сидим, ерундой занимаемся, – удивился он, проиграв, – поехали в бор зайцев гонять.

– Куда вы поедете? Обед уже, – остановила нас пушистая мама Таня.

Обедали за круглым раздвижным столом. Но раздвигать его не стали, поскольку Снежана по причине вирусного заболевания от совместной трапезы отказалась. Я сидел на ее стуле. Какого усилия воли стоило мне удержаться и не поставить после этого предложения восклицательный знак.

Я сидел на троне принцессы напротив открытой двери в горницу, где в марлевой повязке с умирающим котом на руках ходила Снежана. Сократ был закутан в старую шаль, она покачивала его как ребенка и тихо напевала тут же сочиняемую песню: «...будет котя долго жить, песни петь, мышей ловить...»

Помимо воли я пытался разглядеть ее уши. Но уши прятались под золотой занавеской прически.

Впрочем, я мог видеть уши ее мамы. Они мне понравились. Маленькие, аккуратные, как пельмешки, которые мы ели. Я мог смело предположить, что у Снежаны уши не хуже.

Я смотрел на Снежану, баюкающую старого кота, и думал, что через двадцать лет она будет такой же, как ее мама. Я посмотрел на маму, и случилось чудо: ничего обычного, земного я в ней не увидел. За столом сидела королева, переодетая в байковый халат и фартук домашней хозяйки. И она светилась. Слегка, едва заметно, но светилась.

– Не жилец, – сказал отец Снежаны, – я бы эти страдания прекратил.

– И как бы ты их прекратил? – строго спросила мама Снежаны.

– Из ружья, – коротко отвечал дядя Коля.

– Надо же, какое доброе сердце, – удивилась мама и добавила еще строже: – Нет уж. Не мы дали ему жизнь, не нам ее и отнимать.

Тут послышалось ворчание дворового пса. Дядя Коля выглянул в окно и сказал:

– Шарип за бензопилой пришел. Вот он нас и рассудит.

Ветеринар Шарип Ибраев был человеком маленьким, круглым и очень смешливым.

Он так часто улыбался, что улыбка оставалась на его лице даже тогда, когда он был серьезен. Не успевала разгладиться.

Он улыбался, когда не улыбался.

Его пригласили за стол.

У людей, когда они едят, всегда очень серьезное выражение лица. Но ветеринар ел пельмени улыбающимся ртом. Его губы просто не могли сложиться в иную гримасу.

Он, наверное, и спал улыбаясь.

Такого веселого человека мне еще не приходилось видеть.

Хорошо бы иметь такое лицо. Тебе грустно, а ты улыбаешься. Тебе скучно, а ты улыбаешься. Тебе страшно, а ты улыбаешься. Вот только на похороны я бы с таким лицом не ходил.

После обеда Шарип Ибраев спросил, улыбаясь:

– Ну, где больной?

И Снежана вынесла Сократа. В глазах ее попеременно мерцали отчаяние и надежда.

Как бы я хотел в этот момент быть ветеринаром и спасти Сократа.

Поставив кота на пол, ветеринар, все так же улыбаясь, некоторое время наблюдал за его кругами и разъезжающимися лапами. Потом он поднес зажженную зажигалку к глазам кота, помял живот и сказал:

– Я все больше по части крупного рогатого скота. С мелкими животными сталкиваюсь редко. Но по всем приметам с котом случился инсульт.

– Прямо как у людей, – удивился отец.

– Что делать? – спросила мама.

– Я бы из сострадания усыпил его, – улыбаясь, посоветовал ветеринар.

Надежда и отчаяние погасли в глазах Снежаны. Она сердито посмотрела на улыбающегося ветеринара, молча подняла кота с пола, ушла в горницу и плотно закрыла за собой дверь.

– Не даст она его усыпить, – сказал отец, – может быть, какие-то лекарства есть?

– Можно поколоть витамины. Животных, сам понимаешь, от инсульта не лечат. Не доживают они до инсульта. Это можно в человеческой аптеке купить. Только наша аптекарша месяц как уехала.

– Я могу лекарства в Ильинке купить, – вызвался я, – У меня аптекарша тетя Даша знакомая. Вы только напишите, как лекарства называются. Завтра же и привезу.

– Рецепт? – улыбаясь, уточнил Шарип Идрисов. – Выпишем рецепт.

Дверь в горницу распахнулась. Вышла Снежана и подала ветеринару ученическую тетрадку и шариковую ручку.

Спрятав рецепт в рюкзак, я стал прощаться.

– Да куда же ты поедешь? Буран начинается, – остановила меня мама.

Я посмотрел в окно и ничего, кроме белого, не увидел.

– Доеду. Ничего сложного. Просто надо запомнить, под каким углом ветер дует. А не вернусь к шести, мама волноваться будет.

– Телефон у вас есть? Звони, пока провода не оборвало. Так дует, что немудрено и оборвать.

Другая бы мама стала охать, упрекать, причитать, но моя только и сказала:

– Веди себя в гостях прилично.

Нет ничего уютнее теплого деревенского дома в буран. Дом срублен из столетних сосен реликтового бора сто лет назад. Жарко пылают и весело трещат березовые поленья в печи. Печь, кстати, тоже сложена сто лет тому назад. А вся семья сидит за круглым столом и играет в лото.

В лото я играл в первый раз. Но это такая игра, что и думать особенно не надо. Можно думать о чем-нибудь приятном. О простуженной девочке, которая в соседней комнате ухаживает за старым сибирским котом Сократом, домовым, разбитым инсультом. И как приятно чувствовать себя членом этой семьи. Совершенно сказочное чувство: вдруг, в буран, оказаться в одном доме с девочкой первого снега, девочкой, излучающей свет.

Буран сорвал старый деревенский дом с планеты. Дом летит в космическом пространстве. А люди в доме азартно играют в лото.

Какие замечательные родители у Снежаны и Ефима. Снежана очень похожа на маму. А Ефим весь в отца. Оба философы, фантазеры и любители поспорить.

– Зимой человек делается зимним. Зимой человек на медведя похож: он как бы частично в спячку впадает, – заметил дядя Коля, прозевав свою цифру.

– А весной – весенний, – подхватил его мысль Ефимка, – весной человек на скворца похож.

– На грача, – уточнил отец, – все в земле ковыряется.

– А летом – летний. Летом он на корову похож. На земляничных полянах пасется.

– А осенний человек на журавля похож.

– Вот зимних журавлей не бывает. На зиму журавли в Африку улетают, – внес легкую дисгармонию в стройную теорию Ефимка. – Если человек на зиму будет уезжать в Африку, он уже не будет зимним.

И тут они стали размышлять: если человек часть природы, отчего же он вредит природе? А потому что зазнался, нос задрал. Не хочет считать себя частью природы. Опомнися, да как бы поздно не было.

Для ночлега мне выделили гостиничный номер.

Полати.

Это такое чудо. Непонятно, отчего их не делают в современных домах. Если стану архитектором, во всех моих домах обязательно будут полати.

Ефимка перебрался ко мне.

Мы лежали под потолком на овчинном тулупе, прикрывшись другим тулупом, из шкуры волков. Я вдыхал тревожащий запах звериных шкур и чувствовал себя первобытным, пещерным человеком. Потрескивали дрова в печи. Всполохи от пылающего зева печи боролись с тенями. Тени, пробежав по потолку, прятались в укромных углах – за буфетом, под столом, за ходиками, но в основном – у нас, на полатах. А затем хищно выпрыгивали из укрытий. Стучали ставни, и кто-то неутомимо визжал, свистел, хохотал и топал на чердаке. Ефимка сказал, что в детстве им говорили, что по чердаку бегает приبلудный козел, и если дети будут вести себя плохо, он их забодает. Но, по-моему, по потолку бегало Серебряное Копытце.

– Допустим, ты прав: цель человека – стать бессмертным. Допустим, ты стал бессмертным. Скажи, какой смысл жизни у бессмертного человека? – спросил я Ефимку, возвращаясь к прерванному разговору в ночном пришкольном саду. – А вдруг – смысла нет? Что может быть тоскливее бессмысленного существования бессмертного человека?

– Да ты что! Как нет смысла? Думай что говоришь! – возмутился Ефимка. – У бессмертного человека много смыслов!

– Да какие же? Он достиг своего предела. Стал бессмертным. Что ему дальше-то делать? Жить, жить и жить?

Когда Ефим волновался, то думал так быстро, что язык не успевал за мыслью. Он застрочил, как из пулемета – на одной страстной интонации. Слова слипались, теряя окончания. Ефимка говорил, как молотил по боксерской груше:

– Новую планету сделать – раз. Куда людей без другой планеты девать? Нет смысла. Тоже сказал. Солнце чтобы не погасло, надо что-то делать. Два. Солнце для них будет, как для нас печка. Вечный двигатель надо придумать. Три. Как ты доберешься до другой галактики без вечного двигателя...

– Вечный двигатель сделать нельзя. Доказано, – прервал я список смыслов жизни.

– Нельзя для вас, смертных, – сказал Ефимка с превосходством и долей снобизма человека бессмертного, – у смертных свои законы, у бессмертных – свои.

– Но это же такая тоска: живешь, живешь, как Кощей Бессмертный, а вокруг тебя рождаются, стареют и умирают, рождаются и умирают.

– Никто умирать не будет, все будут бессмертными. Никакой тоски не будет. Тосковать будет некогда. При чем здесь Кощей. Он старый. А мои бессмертные будут всегда молодыми. Знаешь, сколько планет и законов природы нужно открыть? Бессмертия не хватит, – успокоил меня Ефим.

– А животные? А растения? Не успеешь привыкнуть, а они вымирают. Новые растения появляются и тоже вымирают. А ты живешь, живешь, живешь. Все вокруг меняется, один ты не меняешься. Новые разумные существа появляются, а ты все тот же. Умереть от скуки можно, а умереть нельзя.

– Почему ты думаешь, что бессмертный человек не будет меняться? – застрочил Ефимка, торопясь успеть за мыслями. – Еще как будет меняться. Он летать без всяких самолетов будет. Без ничего. Захотел и полетел куда надо.

– Без крыльев?

– Да зачем ему крылья? Что хорошего в этих крыльях? Идешь, а они по земле волочатся, пыль поднимают. Боком через дыру в заборе не пролезешь. Как ты под водой плаваешь, так он по воздуху будет летать. На одной силе мысли. Он и под водой жить научится без скафандра. Водой как воздухом дышать будет. И в космическом пространстве будет летать. Без скафандра. Ему вообще дышать не надо будет. Смыслов нет. Тоже сказал. Мы даже о чем подумать не сможем, а он это будет делать. Что, что... К примеру на Солнце жить. Они все смогут. Все, что задумают, все сделают.

Страстная речь Ефимки становилась все глуше, невнятной, перешла в бормотание и закончилась легким похрапыванием. Чудовищное притяжение дремы затянуло Ефимку, и он провалился в черную дыру сна. И снилось ему, как он, бессмертный, летит, пожирая световые годы, в соседнюю галактику. Без космического корабля и скафандра. Я подумал о том, что взрослым человек становится не в тот день, когда ему вручают паспорт. Взрослым становятся, когда избавляются от детской мечты. Я знал многих ребят, которые становились взрослыми в десять лет. Из тех же, кто, повзрослев, не отказывается от детской мечты, получают неудачники. Потому что мечты отказываются от них. Но очень редко случается, что человек, став взрослым, делает свою детскую мечту реальностью. Такие люди взлетают на первом самолете, погружаются в воду на первой подводной лодке и испытывают первый акваланг. Это великие люди. Вполне возможно, что пацан из деревни Новостаровка, который похрапывает под волчьим тулупом, станет великим человеком. Хотя сделать человека бессмертным – это не скрепку изобрести.

Я закрыл глаза и медленно оторвался от полатей, просочился сквозь потолок и, до смерти напугав приبلудного козла на чердаке, взлетел над шиферной крышей. Старая сосна лохматыми вечнозелеными лапами прикрывала дом от бурана. Ствол ее был неподвижен, а ветви раскачивались и скрипели. Я летел сквозь вьюгу. Поднимаясь все выше и выше, пока из глубины космоса ни увидел планету. Она была совершенно белой, и я не мог разглядеть на ней ни Новостаровки, ни Ильинки. Ничего, кроме белой вьюги. И тут я понял, что не в силах остановить или направить свой полет. Я просто поднимался вертикально, как пузырь со дна озера. Как воздушный шарик. А там, на белой планете, укрытый снежным бураном, остался старый дом под старой сосной. А в нем девочка первого снега поила молоком из пипетки старого кота Сократа. Я хотел вернуться в теплый уютный дом. Но неведомая сила уносит меня прочь в глубины космоса. Я погружался в вечную тоску без конца и без края. Эта тоска заполняла все складки, все морщинки моей одинокой, затерявшейся в пространстве бессмертной души.

5

Передавая капсулы с лекарством Снежане, я сказал, что уколы надо ставить в загривок. Я хотел показать, как это делается, но она не доверила мне жизнь Сократа. Я спросил, ставила ли она уколы раньше. Она нахмурилась и, не ответив, попросила подержать кота.

Сократ был настолько плох, что уже не мог ни ходить, ни сопротивляться.

Я держал укутанного в шаль кота. Снежана, прикусив губу, ставила уколы. Наши головы почти соприкасались. Было видно, что она делала это в первый раз. Никогда прежде я не встречал такой мужественной девочки. Честно сказать, не знаю, смог бы я проткнуть иглой шкуру живого существа. Два укола были безболезненны, и Сократ их, казалось, не замечал. Но третий вызвал у него протест. Кот жалобно заверещал.

Ефимка, наблюдая за нами, делился своим мнением, с которым никто не считался. Мнение было такое: чего кота зря мучить, все равно сдохнет.

Вот этого мне как раз и не хотелось. Мне хотелось, чтобы Сократ жил долго и медленно-медленно поправлялся.

Я смотрел на руки Снежаны, на ее сосредоточенное лицо и думал, что из нее выйдет хороший врач. Я так и сказал:

– Из Вас выйдет очень хороший врач. Вы должны поступить в медицинский.

– Кое-кто обещал пробить лыжню в первых лесках, – хмуро напомнил о своем существовании Ефим.

– Я смотрю, Вы без повязки. Выздоровели? Вы на лыжах катаетесь? – спросил я Снежану.

– Нет, не катается, – ответил за нее Ефим с долей ревности. – Пошли, что ли, а то день скоро кончится.

Ему не терпелось опробовать лыжи на ботинках.

Лыжня проходила мимо кладбища. Остановившись, Ефимка показал лыжной палкой на тополь. Похвастался:

– Там дед с бабушкой. И прабабушка с прадедушкой. Наше место. Там нас всех похоронят.

– И тебя?

Ефимка вспомнил о своей цели в жизни и ответил бодро:

– Через двадцать лет здесь никого хоронить не будут. Как думаешь, мамка с папкой двадцать лет еще проживут?

– Никаких сомнений.

– Жаль, что Сократ подыхает. Думаю, скоро сдохнет. Если сдохнет, я тебе позвоню. Что зря на лекарства тратиться. В Ильинке мороженое делают? Лучше мороженое привези.

Легкая поэмка, как рябь на молочном озере. Вкатываешься в бор, и возвышенный хор сосен, поющий без слов, настраивает душу на высокий лад. А может быть, это не поющие сосны. Это ветер с севера приносит с собой поющие души давно умерших людей. И эти души пытаются сказать нам, еще живущим, что-то важное и печальное. Без слов. Одним настроением.

И это не кажется странным, когда между сосен мелькают припорошенные снегом кресты и звезды зимнего кладбища.

Когда ты скользишь на лыжах сквозь это печальное мычание сомкнутых губ, начинает казаться, что это твоя душа поет эту песню. И тогда к чему слова? Все и так ясно. И сосновый бор, и ветер, и шорох твоих лыж, и твоё дыхание, и сам ты – все сливается в одно целое, безмерно величественную и печальную вселенную. Заиндевший табун лошадей у заснеженного стога, вспорхнувшие из-под снега куропатки, стелящийся дым из деревенских труб, твои смутные мысли – вот из чего состоит эта вселенная. Ты достиг высшего счастья – единения с этими соснами, ветром, природой. Но за этим высшим счастьем скрывается лишь печальная пустота вселенной.

Вопреки прогнозу Ефима, кот не умер. Когда в следующее воскресенье я прикатил на лыжах с очередной порцией лекарств, он не просто был жив, но снова ходил по горнице. Задние ноги его все так же были широко расставлены и порой разъезжались в стороны, он все так же был похож на конькобежца, но худо ли, хорошо, а ходил.

Это было чудо.

Я был рад за Сократа, но особенно меня порадовало счастливое лицо Снежаны.

Склонившись на коленях над котом, она левой рукой поддерживала его, а правой поправляла волосы, заводя их за ухо.

Это ухо меня крайне взволновало. Оно было совершенно. До того совершенно, что я едва удержался от желания прикоснуться к нему кончиками пальцев.

Снежана и Ефимка смотрели на прогуливающегося кота, удивляясь и радуясь чуду воскрешения, а я любовался ухом Снежаны.

Вся она светилась, как в тот день на Соленом озере. Но это было не сияние первого снега, а ровный, теплый, золотистый свет души. Особенно золотой свет исходил от ее совершенного уха.

Этот свет наполнял меня счастливой силой. Я был уверен, что, если захочу, то смогу стать невесомым и, не вставая с колен, оторваться от пола, медленно взлететь до потолка.

– Вам, Снежана, нужно стать врачом. У Вас талант, – сказал я.

А она ответила:

– Я не хочу лечить людей. Люди о себе сами могут позаботиться. Я хочу ухаживать за животными.

Тут я достал из рюкзака три пачки сливочного мороженого. Мы чокнулись, пожелав здоровья Сократу. После чего Ефимка отобрал у сестры стаканчик, сказав:

– Тебе нельзя. Опять простынешь и сопливить будешь.

Заботливый парень этот Ефим.

Я полюбил Сократа за его чудесное воскрешение. Но в этой любви была изрядная доля эгоизма. Его живучесть была причиной моих воскресных приездов в Новостаровку. Пока лежал снег, я прибегал на лыжах, в распутицу привозил лекарства на рейсовом автобусе, а когда дороги подсохли, пересел на велосипед.

Совместная борьба за жизнь сибирского кота Сократа сделала нас со Снежаной почти друзьями. Почти.

Когда Ефим спрашивал, почему я «тыкаю» ему, а ей «выкаю», я отвечал, что на ты обращаются друг к другу только люди близкие. Мы с тобой друзья? Друзья, соглашался Ефимка. А со Снежаной мы только знакомые.

Действительно, я чувствовал, что свет, исходящий от нее, как бы отталкивал меня. С одной стороны, меня это обижало, но с другой – мне казалось, что, как только я скажу ей «ты», этот свет просто погаснет. А мне этого не хотелось, потому что все девочки, которых я знал, не светились.

Мне бы хотелось, чтобы Сократ жил и жил до тех пор, пока Ефимка не раскроет тайну бессмертия. Но чудо не может продолжаться вечно. Однажды, приехав с очередной порцией лекарств, я застал семью Пановых в неутешном горе.

Утром Сократ не проснулся.

Он лежал в коробке от обуви и был усыпан желтыми одуванчиками.

Снежана плакала. Тетя Таня ее утешала.

Ефимка сурово хмурил брови.

– Думаем, где похоронить, – сказал он озабоченно. – Хотели на кладбище, рядом с дедом. Сказали нельзя. Почему нельзя? Дед любил Сократа. И в огороде рядом с черемухой тоже нельзя.

– А что думать? Здесь и думать нечего, – сказал я и показал рукой на холмы, покрытые реликтовой сосной.

Среди них выделялась Большая сопка. Она нависала над озером застывшей волной и, словно живая картина, была врезана в раму окна. Поляна на ее вершине казалась лысинкой, из которой росла единственная разлапистая сосна.

Это место было хорошо тем, что всякий раз, садясь за круглый стол, можно было посмотреть в окно и помянуть добрым словом Сократа.

Ефим согласился со мной. А Снежана перестала плакать и, посмотрев сквозь слезы в окно, добавила, что Сократу с вершины Большой сопки всегда будет виден дом. И заплакала еще горше и безутешней.

И мы стали готовиться к похоронам.

Ефим привязал к раме своего велосипеда штыковую лопату.

Я осторожно положил коробку с Сократом в свой рюкзак.

Снежана тоже хотела проводить в последний путь любимого кота. Но в семье Пановых был один велосипед.

– Сиди дома, без тебя обойдемся, – сказал суровый Ефим.

Я предложил раму своего велосипеда. Предложение было с благодарностью принято.

И мы покатали по нижней дороге, по-над берегом Соленого озера. Было солнечно и ветрено. Волны с шорохом наползали и отступали в ритме траурного марша. Глупый щенок, с визгом отступая от прибоя и с лаем догоняя уходящую воду, пытался покусать озеро. Белые стаи домашних гусей, покачиваясь на волнах, перекликались с серыми стаями диких.

Жизнь продолжалась без Сократа.

За спиной в рюкзаке у меня лежал мертвый кот, а передо мной, свесив ноги на бок, сидела убитая горем самая красивая, самая добрая и самая легкая девочка на планете. Я медленно крутил педали, стараясь не трясти ее на кочках и ухабах. Мне хотелось, чтобы эта поездка длилась как можно дольше. Желательно всю жизнь. Я вдыхал запах ее волос. Они пахли Соленым озером, полынью, богородской травой. Иногда они касались моего лица, и всякий раз меня било нежным током. Я чувствовал тепло золотого света, который она излучала.

Внезапно колеса велосипеда оторвались от земли. Ни рытвин, ни кочек. Мы летели. И все вокруг сделалось сном, сказкой, мечтой, волшебством. Никогда я не чувствовал себя таким сильным, всемогущим и счастливым. Ради этой невестомой девочки я был готов на все: убить любого, кто ее обидит, умереть, сделать все, что не по силам человеку. Она была для меня самым ценным, что есть во вселенной, и смыслом моей жизни было оберегать ее от опасностей и несчастий. Не было ни прошлого, ни будущего, и даже настоящего не было. Была лишь она. Мне было все равно: мечта ли это, сон, или на самом деле мой велосипед летел над песчаной землей Новостаровки.

– Тебя что, Рябчик, не кормили сегодня? – обернувшись, сердито ворчал Ефимка, утомленный медленной ездой, и подбодрил: – Давай, давай крути педали, а то до ночи не доедем.

Мы ехали хоронить кота. Но печали я не чувствовал. Мне было стыдно за переполнявшее меня счастье, но ничего поделать с собой я не мог.

Спрятав велосипеды за мшистыми валунами у подножья сопки, мы поднимались вверх по склону. Под ветром с Соленого озера ровно шумели сосны, хвойный аромат смешивался с запахами водорослей и тины. Я никогда не видел более чистого, более светлого леса, чем этот реликтовый бор, по которому поднималась вверх девочка в ситцевом сарафане, излучающая золотой свет, который кроме меня никто не видел.

Когда я вижу что-то красивое – будь это лесная поляна, речная заводь, первый снег, слепой дождь, картина или человек – на душе становится спокойно, ясно и немного грустно. Это красивое говорит мне, что впереди ждет что-то хорошее, и я буду непременно счастлив и все будут счастливы, если... В этом «если» и заключается доля грусти.

Шедший впереди, опираясь на лопату, Ефимка насторожился и поднял руку.

– Ведьмин круг, – предупредил он нас.

Это был круг из мухоморов. Довольно большой и неровный. И почему бы ему не быть большим. Мухоморы несъедобны. Вот их никто и не собирает. А жители Новостаровки, несомненно, люди воспитанные. Без дела не пинают и не топчут даже поганки

– Вступишь в круг – быть беде, – мрачно остерег Ефимка.

– Какой беде? Слушаешь всякие старушечьи сказки, – укорила его в суеверии сестра.

И не стала обходить ведьмин круг.

Покачал Ефимка головой, осуждая безрассудство сестры. И мы обошли кольцо из мухоморов. Он – слева, я – справа.

Я посмотрел на Снежану, пересекающую ведьмин круг, и вспомнил, что Мухомором дразнили мальчишку, с которым дружила Снежана. А вспомнив, подумал что все трое мы вспомнили о нем.

Мне стало неприятно и тревожно.

А Мухомор в колонии для несовершеннолетних так громко икнул, что перепугал товарищей по узилищу.

На вершине, рядом с древней сосной, лежал валун. Тяжелый. В щербинах и сколах. Он был погружен в вечный покой. И только изредка голоса людей нарушали эту гипнотическую тишину, настоящую на шуме сосен и хвойном запахе. Одна сторона валуна была чистой, а другая покрыта разводами лишайника. Был он настолько древним, что невольно думалось о веках, тысячелетиях не нашей эры. Но до чего же похожа кряжистая сосна над валуном на ту, что стоит у дома Пановых. Такая же разлапистая. И вершина обломана ветром.

Совместными усилиями мы попытались откатить валун. Но он не поддался. Даже не вздрогнул. Должно быть, большая его часть была скрыта землей. Тогда мы решили выкопать яму рядом с камнем, с таким расчетом, чтобы камень был в изголовье Сократа, но не перекрывал вид на Новостаровку и дом Пановых.

Ефим предложил процарапать на валуне имя Сократа и даты его рождения и смерти.

Мне эта идея не понравилась, и Снежана меня поддержала.

Я аккуратно срезал дерн и отложил в сторону.

Ефим спросил Снежану: на какую глубину копать могилу – на два или три штыка?

Вместо ответа она отвернулась и заплакала.

А Ефим сказал:

– На четыре. А то как бы звери не раскопали. Учуют и раскопают.

От этих жестоких слов Снежана заплакала с новой силой.

Но Ефимка ее успокоил:

– Чего ты реवेशь. Не реви. Мы его камнем придавим.

– Не надо камнем, – возразила, всхлипывая Снежана, – ему будет тяжело под камнем.

Когда мы закопали Сократа и накрыли его могилу дерном, я подумал, что нужно сказать какие-то слова. Нельзя так – закопали и ушли. Что это за похороны. Нехорошо.

И я сказал:

– Сократ достиг предела жизни и умер счастливым. Слилсся с вечностью и стал бессмертным. Потому что после смерти смерти нет. Есть только надежда на новое рождение.

А Ефимка добавил:

– Земля ему пухом. Все там будем.

Должно быть, забыл, для чего он предназначен природой.

И только Снежана ничего не сказала. Что такое слова? Просто слова. Без слов можно сказать значительно больше и лучше.

Первые в моей жизни похороны оставили в моей жизни светлое впечатление. Может быть, чуть-чуть печальное, но светлое.

6

Некоторое время у меня не было повода приезжать в Новостаровку. И то-то я обрадовался, когда позвонил Ефимка.

– Окунь идет. Горбачи по кило и больше, – сообщил он и сделал предложение, от которого невозможно отказаться: – Приезжай, порыбачим. А то отцу некогда, а мамка одного не отпускает. Ключ от лодки спрятала. Главное, дед лодку мне подарил, а она ключи спрятала. Нормально, да? Я договорился. С тобой отпустит. Говорит, ты человек серьезный.

Не передать, как приятно мне было слышать это.

– У тебя зимняя удочка есть? – продолжал Ефимка. – Нет, летнюю не бери. С летней на Соленом делать нечего. И спиннинг не бери. У нас и зимой, и летом только на зимнюю ловят. Никакую не бери. Отцовскую возьмем. Прикупи только мормышек штук десять.

Я прикупил. И утром, отмыкая лодку от цепи, привязанной к старому, треснувшему посередине и затянутому песком жернову, Ефимка спросил:

– Грести-то умеешь?

На груди его висел старый фронтальной бинокль, доставшийся в наследство от деда. И его разрывали два желания: грести самому и сидеть на корме, обзирая акваторию Соленого озера в дедовский бинокль. Выбор был нелегкий. Но он принял решение:

– Ладно, до острова ты грести, а я обратно. Буду смотреть, где чайки кружат. Где кружат, там и рыба. Табанить-то умеешь?

Лодка была тяжелой. Почти баркас. Не заводская «днестрянка». Ее недавно просмолили, и выглядела она слегка неряшливой. Да и самодельные весла не отличались изяществом. Но была она уравновешенной и вполне управляемой. Развернув лодку носом на далекий остров, я греб размеренно и нечасто, погружая лопасти на нужную глубину. Тяжелая лодка с каждым гребком становилась все легче, все стремительнее.

Ефимка оценил стиль.

– Где ты так намастрячился без брызг? – спросил он, не скрывая уважения.

– У меня разряд по народной гребле, – отвечал я обстоятельно, – четвертое место по республике. А по байдарке – второе. Но по области.

В гребле главное – ритм. И когда втянешься в свой ритм, наступает момент, когда ты превращаешься в стихотворный размер. Сливаешься с лодкой в единое целое. А точнее, сам становишься лодкой.

Ритмично раскачиваясь, спросил я своего друга, отчего не поехала на рыбалку Снежана.

– Вот я еще девчонок на рыбалку не брал, – отвечал он, сомневаясь в моей вменяемости, – приспичит, и что делать – на берег выплывать? А до берега все пять километров.

Человек Ефимка умный, предусмотрительный. А вот поэзии в нем ни на грош.

Мы были на полпути к острову, когда Ефимка, указав рукой в сторону солнца и прикрыв глаза козырьком из ладони, предположил неуверенно:

– Тонет, что ли?

Воспользовался биноклем и крикнул командирским голосом:

– Человек за бортом!

Посмотрев через плечо в указанное направление, я развернул лодку.

С каждым гребком ситуация прояснялась.

Бедствие терпел рыбац на резиновой лодке. Зеленый нос ее торчал из воды, а кормы не было. То ли заднюю часть случайно проколол, то ли старая латка отклеилась.

Человек сидел по пояс в воде, судорожно сжимая смыкающиеся борта. Он смотрел в нашу сторону и издавал странный писк, как бы передразнивая скрип уключин. Отчасти звук напоминал щенячий скулеж, переходящий в крик чайки. Судя по тому, что обрезки весел плавали рядом, человек не надеялся выплыть самостоятельно. Отчаялся.

Кстати, плохая мода у местных рыбаков – обрезать заводские весла. Еще понятно, если нужно заплыть куда-нибудь в камыши рядом с берегом. Но грести этими обрубками на расстояние в несколько километров – большая глупость.

– Да это не человек, это Мухомор, – не отрывая глаз от бинокля, с большим разочарованием сказал Ефимка. – Ну его, пусть тонет.

– И чем же Мухомор отличается от человека? – спросил я, не меняя курс.

– Поганка, а не человек, – отвечал Ефимка. – Три дня назад из колонии вернулся, а на него родной пес зарычал. Мухомор вытащил из чурбана топор и зарубил собаку.

Омерзительнее и страшнее истории я еще не слышал. Меня передернуло.

– Собака на цепи была?

– На цепи. Домашний пес.

Ужасно. Ефимка прав: тот, кто убил собаку, привязанную на цепи, не человек. Но что нам было делать сейчас?

Конечно, не поплыви мы к Каменному острову, Мухомор бы, ко всеобщему облегчению, скорее всего, утонул бы. И честно сказать, оплакивать его я лично не стал бы. Небольшая потеря для человечества. Но раз уж мы здесь, делать нечего. Приятно тебе, не приятно, хочешь, не хочешь, а спасать надо. Не спасем Мухомора, сами станем Мухоморами.

– Купальный сезон открыл? Первым воду греешь? – спросил утопающего Ефимка без сочувствия и, как мне показалось, даже с издевкой. – Вода-то холодная?

– Бу-бу-брр! – отвечал тот одеревеневшими губами.

Непонятно что, но сердито.

Его бил крупный озноб. Обвисшие поля солдатской панамы делали ее похожей на дамскую шляпку.

– И весла обрезал, чудило. Кто же с такими поварешками к острову плавает? Ты бы еще вместо весел чайные ложки взял, – продолжал изумляться тупости несчастного Ефимка.

Утопленник сделал страшные глаза, захлопал губами, но издал лишь жалкий мышинный писк. Только золотой зуб яростно просверкал азбукой Морзе.

Я подвел лодку кормой к потерпевшему крушение. Он попытался вскарабкаться, но задеревеневшие мышцы не слушались его, а намокшая одежда была

слишком тяжела. Ефимка же, даже не попытавшись ему помочь, перешел на нос, напевая злорадно: «...раз пятнадцать он тонул, погибал среди акул, и кричал, как поросенок: “Караул!”...».

Удивляясь злорадству и бессердечию своего друга, я перешел на корму, ухватил рыбака за ворот и втащил в лодку. С него ручьями стекала вода.

– Штаны бы отжал, курица мокрая, – посоветовал спасенному Ефимка и спросил: – Сети, поди, тряс, браконьер? Чужие, поди?

Длинный Мухомор скрутился в маленькую улитку. Его трясло так, что от лодки кругами расходились волны. На одной ноге у него не было сапога.

Я поймал якорный трос резиновой лодки. Судя по тому, что к нему не был привязан груз, Ефимка был прав – Мухомор проверял сети. Привязав трос к кольцу на корме, я сел за весла и развернул лодку носом к берегу.

– Отрыбачились, спасибо! – угрюмо поблагодарил спасенного Ефимка и надолго замолчал, рассматривая родную деревню в потертый дедовский биннокль.

Резиновая лодка со спущенной кормой сильно замедляла движение. Пришлось и ее втащить на борт.

Ефимка, унылой скульптурой русалки застыв на носу, смотрел вперед.

Я греб.

Мокрый Мухомор, ужавшись до минимального размера, тряся на корме, как будильник. Тихо дребезжал и иногда взвизгивал. А порой так вздрагивал, что от него разлетались брызги, и вспыхивала радуга.

Едва днище лодки зашуршало о песок, Мухомор – ни спасибо, ни до свиданья – выпрыгнул из нее и, чавкая мокрыми одеждами, побежал на негнущихся ногах в деревню. Вопросительный знак на ходулях. На одной ноге – резиновый сапог, на другой – только наполовину слезший носок.

– Всю рыбалку испортил, – сказал, глядя ему вслед без особой любви, Ефимка, – сейчас клев начинается. Самые горбачи клюют.

– Не расстраивайся, – попытался я утешить его. – Подумаешь, сорвалась рыбалка. Ты радуйся. Мы человека спасли.

– Если бы человека, – проворчал Ефимка. – Надо было не спасать, а веслом по башке настучать.

Да, особой радости спасение Мухомора после истории о зарубленной топором собаке и мне не принесло. Я был о нем лучшего мнения. Какой-то он нескладный, жалкий. Конечно, когда ты весь мокрый, трудно сохранять чувство собственного достоинства. С другой стороны, когда же его и сохранять, как не в подобных ситуациях.

Но нравится нам Мухомор, не нравится, а спасти мы его были обязаны. Я так и сказал Ефимке:

– Друг мой Ефим, возлюби врага своего, как самого себя.

– И он тебе это припомнит, – ответил Ефимка не по возрасту цинично.

В расстроенных чувствах он вышвырнул на берег резиновую лодку и звонко пнул надутую часть.

– Поплыли назад? – спросил он сердито.

– А лодка?

– Да кому нужна эта дырявая резинка. А стащат – не наша забота. Мы в сторожа не нанимались.

Время на спасение Мухомора мы потратили изрядно, и мне пришлось приналечь на весла.

Ефимка, сожалея о потерянном времени, был недоволен клевом, червями и бормашами. Я же, напротив, был доволен всем.

Никогда еще я не ловил таких крупных окуней. Мы бросали их в специальную емкость между двумя перегородками на дне лодки, предварительно начерпав в нее воды. Каждый новый окунь вызывал переполох среди уже пойманных рыб и на нас летели брызги. Брызги Ефимке тоже не нравились. А меня окуни в луже на дне лодки очень даже забавляли. Но особенно мне нравился момент, когда кто-то неведомый на глубине натягивал леску моей удочки. Как ни ждешь его, а он всегда случается неожиданно. В этот момент я чувствовал себя колоколом. Гул от удара сердца разносился по всему озеру.

Когда мы выплывали к берегу, солнце садилось. Никогда я не видел такого красивого заката. Ровная гладь озера без изъяна отражала багрово золотые облака. Скульптурно тяжелые и воздушно легкие одновременно. Было торжественно и тихо, как в церкви. Ничего не нарушало тишины, кроме размеренных всплесков весел.

Между двумя закатами на тонкой полоске земли призрачно светилась Новостаровка. Она сама казалась частью золотого заката.

Ефимка греб по-деревенски, глубоко погружая весла в воду, почти не используя мышцы спины и совсем не используя ноги. Он быстро устал и спросил тоном благодетеля, не хочу ли погрести я. Перешел на нос и уставился в бинокль на закат. Космическое зрелище – смотреть в бинокль на закат. Кажется, ты сам в центре заката.

Чем ближе подплывали мы к берегу, тем насыщеннее становились краски.

Оказывается, Земля вовсе не имеет форму шара. Она плоская, как блин. А на краю ее стоят две Новостаровки. Одна вверх трубами, другая вниз трубами. И над обеими Новостаровками две сороки летят хвостами вперед.

– Снежанка пришла, рукой машет, – сказал Ефимка.

Я оглянулся, но без бинокля ничего не увидел.

– Нас с ведрами встречает, – продолжал комментировать Ефимка.

– За водой пришла? – спросил я.

– Вот я еще соленую воду не пил, – отвечал Ефимка с усмешкой, – озерная вода только для бани полезна, а баня вчера была.

– Зачем же она с ведрами пришла?

– За рыбой, – отвечал Ефимка солидно и пояснил, – бабушка деда встречала, мама отца, а Снежанка – меня. Раньше много рыбы ловили. За один раз всю не донесешь.

От этих слов стало мне приятно и тревожно. Снежана встречала не только Ефимку, но и меня.

А тревожно стало от того, что мы сегодня спасли человека, которого, по хорошему, не стоило спасать.

– А Снежана знает? – спросил я.

– Что?

– Что Мухомор зарубил свою собаку?

– Об этом все знают, – хмуро отвечал Ефимка и добавил с большим сожалением: – Надо было ему веслом по башке настучать.

Каждое лето мы с мамой ездим на десять дней в Боровое.

Не изменили традиции и в этот год.

Но все десять дней в Боровом я думал о Соленом озере. В том смысле, что глупо ездить так далеко, если рядом есть такое озеро.

На следующее утро после возвращения я сел на велосипед и прикатил в Новостаровку. Но в доме Пановых никого, кроме Потапыча, не было. На его громоподобный лай вышла соседка и сказала:

– Сами на работе, а ребята, должно быть, на Белые пески ушли загорать. У нас все дожди шли. Сегодня, считай, первый летний день.

– Белые пески? А где это?

– За кирпичным заводом, за рыжими глинами.

Нравятся мне новостаровские названия. Озеро Соленое. Сопка Большая. Пески Белые. И никакого расхождения с действительностью: озеро, не поспоришь, соленое, сопка большая, а пески белые. Как снег. Эти простые названия не только правдивы, но и торжественны. Они как бы подразумевают, что на всей планете есть лишь одно соленое озеро, одна большая сопка. А таких белых песков нигде в мире больше нет.

На Белых песках я нашел Ефимку. Он успел обгореть и грустил в тени одинокой ивы. Сам одинокий, как Робинзон Крузо.

Когда я подкатил к нему, рисуя шинами осыпающуюся колею, он остановил меня повелительным движением руки. А вместо ответа на приветствие пробормотал:

– 56, 57...

За дюной, в сопках, куковала щедрая на обещания кукушка. Гулко, с эхом. Как из бочки. Я успел раздеться, подкачать заднее колесо, а она все куковала. Долголетие Ефимке было обеспечено.

Наконец, кукушка улетела в чужие края. В сторону Кривощекова. Ее удаляющийся крик становился все тише, тише, пока не растворился в плеске волн и криках малышни, купающейся поодаль.

– Сколько? – спросил я.

– 147.

В голосе его чувствовалось разочарование.

Что значит 147 лет для человека, цель которого обессмертить человечество?

– Не расстраивайся, – утешил я его, – она улетела, кукуя. Это намек на что-то большее, чем просто долголетие.

– А ты бы смог переплыть Соленое? – спросил Ефимка.

Бирюзовые воды уходили за горизонт, сливаясь с небом. Казалось, что это залив океана. Безбрежного океана по величине равного небу. Песчаная дюна только добавляла сходства. И лодки, прикованные к железным колесам, вкопанным в берег, были совсем не озерными, а морскими. Чайки, шум прибоя. В той стороне, куда указывал Ефимка, должно быть, находилась Бразилия.

– Не знаю, не пробовал, – скромно ответил я.

– А я бы смог до самой Синеглинки доплыть, – грустно похвастался Ефимка, – если бы не сгорел. Только долго бы пришлось плыть. Может быть, два дня. А может быть, даже три. Не веришь?

– А как бы ты спал?

– Запросто. На спине. Я могу на спине хоть весь день пролежать. И по дну умею бегать. Ты умеешь по дну бегать? Хочешь – научу?

Я впервые купался на Соленом озере. И очень мне понравилась его солоноватая, прозрачно-бирюзовая вода. Ефимка не врал. Он на самом деле умел бегать по дну. После нескольких уроков побежал по дну и я. Ничего особенного. Элементарная физика. Просто нужно уметь распоряжаться своим телом как крылом самолета.

Мы лежали с Ефимкой на дюне. Я на солнцепеке, а он в тени ивы, накрывшись рубашкой. Этот будний день был невероятно праздничным. И только я хотел спросить, где Снежана, как Ефимка сказал мрачно:

– Мухомор прется. Поганка!

Трудно было узнать в высоком тощем парне утопленника, которого я за шкуру вытащил в лодку. Это было существо с лицом белокурого языческого бога Леля и самыми пошлыми манерами шпаны. Просторная пестрая рубаха и узкие, как гамаши, белые брюки. На шее повязан платок в горошину. Зеркальные светофильтры сверкают сварочными вспышками. Такие очки делают девчонок стрекозоподобными инопланетянками, неземными существами, а парней – жеманными и пошлыми. Все мне не нравилось в этом двухметровом попугае.

Но особенно мне не понравилось, что он держал за руку девочку первого снега. Она смотрела на него снизу вверх и что-то говорила. Он остановился, вытащил из нагрудного кармана рубашки пачку сигарет и зажигалку. Закурил. Заложил руки в карманы брюк и, склонившись над ней радужным вопросительным знаком, слушал, выдыхая дым ей в лицо. При этом подрагивал острым коленом.

И вдруг ударил ее по лицу.

Как будто имел на это право.

Она закрыла лицо руками, а он, все так же нависнув над ней, что-то назидательно внушал. Как учитель провинившейся ученице.

На моих глазах впервые парень ударил по лицу девочку.

Ярость переполнила меня, и случился провал в памяти. Только что я лежал на белом песке рядом с Ефимкой, и вот уже стою рядом с Мухомором, разворачиваю его – при этом с треском отрывается рукав пестрой рубашки – и бью по морде. Не кулаком. Ладонью. Пощечина.

Но что это была за пощечина. Несомненно, это была самая звонкая пощечина в мире. Будь она чуть-чуть сильнее, и голова Мухомора, оторвавшись от хилой шеи, улетела бы волейбольным мячом далеко в озеро. Во всяком случае, зеркальные очки отлетели метров на десять и разбились о перевернутую лодку. Потрясенный пощечиной, Мухомор провернулся вокруг собственной оси, попытлся, пытаясь сохранить равновесие, но, споткнувшись о цепь лодки, рухнул в Соленое озеро. А когда он поднялся, просторная рубашка прилипла к телу, и стало видно, какой он тщедушный. Он был похож на сибирского кота после того, как его искупали. Просто Кощей Бессмертный.

Все в нем было пакостно. И чрезмерная блатная сутулость. И руки в карманах мокрых штанов. И взгляд, полный спеси, злобы и презрения. И шейный платок, скрывающий хилую индюшачью шею. А главным образом, походка, которой славится шпана. Вычурно наглая и при этом отвратительно женственная. Он «катил колеса». Нормальные люди так не ходят. Мелкими, частыми шажками. Причем нога сзади противоестественно выгибалась в колене, будто у ног не было

коленных чашечек. Долго же ему пришлось тренировать эту походку кривоногой гейши. Такое впечатление, что человек едет на велосипеде, заднее колесо которого прокручивается. Что в нем можно любить? Разве что внутренний мир. Но какой внутренний мир может быть у человека, который «крутит колеса»? Ах, да! Талант. Он умеет брэнчать на гитаре. И должно быть, прежалостно.

Между тем, Мухомор подошел ко мне вплотную, вытаращил глаза и проорал: «Урою!» Руки при этом он все так же держал в карманах. Я с нетерпением ждал, когда он вытащит их и попытается «урить» меня. На этот раз пощечиной не отделается. Но это был отвлекающий прием. Не вынимая руки из карманов мокрых штанов, он пнул меня. Такой подлости я не ожидал даже от Мухомора. Подкованный носок ботинка врезал мне по той части тела, которую веселый хирург районной больницы назвал позже «стручком». Я едва не потерял сознание от боли.

Если в поединке вы получили травму, но не потеряли сознание, у вас есть доля секунды на контрприем «сгоряча». Надо преодолеть боль и выполнить его, во что бы то ни стало. И тогда есть шанс избежать поражения. Упустишь эту долю секунды и уже не справишься с болью.

Если бы я скорчился, Мухомор запинал бы меня. В этом у меня сомнений нет.

Я сделал единственное, что мог сделать в этой ситуации: свалил его прямым ударом в челюсть.

Мухомор повторил уже пройденный путь и, так и не вынув рук из карманов, снова расплескал Соленое озеро.

И тогда Снежана закричала:

– Не бей его, скотина!

И не собирался. Лежачих не бьют. Но скотина – это, конечно, чересчур.

Она склонилась над поверженным Мухомором, пытаясь помочь ему встать. А он, не вставая, снова ударил ее по лицу.

И тогда заорал я:

– Встань! Встань!

Боль усиливала мою ярость.

Но Мухомор продолжал белобрюхим налимом лежать в воде, тарачил на меня страшные глаза и нес всякую чепуху. Что-то вроде: «Мы еще встретимся в бане возле крантика».

Не встает и не встает. Не ждать же на потеху пляжному народу, пока он посиет и умрет от переохлаждения. И я, сопровождаемый Ефимкой, пошел прочь, пытаясь походкой не выдать боль и обиду.

До этого дня я не знал, что к таким типам, как Мухомор, нельзя поворачиваться спиной. Потому что нет никого опаснее спесивого труса.

– Леня, не надо!

Этот крик Снежаны спас мне жизнь.

Я обернулся.

Мокрый Мухомор молча бежал ко мне с ножом в руках.

Левой я отвел удар. Лезвие при этом оцарапало мне живот. А правой, продолжая движение, снова врезал ему в челюсть.

И снова Снежана закричала:

– Не бей его!

Но я не удержался и ударил. Ногой. В морду. И с отвращением подумал, что поступил как Мухомор. Потому что ударил лежачего.

И тут я увидел нож с лезвием, затуманенным моей кровью. Нож, который этот урод собирался воткнуть мне в спину. Я поднял его, и Снежана, завизжав, встала между мной и поверженным Мухомором. Неужели она подумала, что я могу убить беспомощного человека, как Мухомор убил привязанную к цепи собаку? Да, я поступил, как Мухомор, пнув лежачего, извините, но я не Мухомор и никогда им не стану.

Это был нож-прыгун. Узкое лезвие выскакивало из рукоятки, стоило лишь нажать кнопку. Было в нем, несмотря на предназначение убивать, отвратительное женское изящество. Я сложил его и зашвырнул, вложив в бросок всю неизрасходованную ярость на Мухомора и обиду на Снежану. И столько было этой ярости, этой обиды, что мне казалось, нож преодолет земное притяжение и выйдет на околоземную орбиту. Но он пролетел над барахтающейся на мели малышкой и без брызг исчез в водах Соленого озера. Там, где прозрачная бирюза, подсвеченная белым песком, переходит в непроницаемый, насыщенный ультрамарин глубины.

Промокнув царاپину носовым платком и побросав одежду в рюкзак, я вывел за рога велосипед на берег.

– Куда ты? – схватился за сидушку Ефимка, пытаюсь остановить меня. – Надо же бороться за любовь.

В ответ я только усмехнулся. Без улыбки. Два страшных потрясения пережил я в эти несколько минут. Пощечину, которую нанес Мухомор Снежане, и «скотина» в мой адрес. Садясь в седло, я поклялся никогда больше не появляться в Новостаровке. И ни разу не оглянулся. Но я знал, что на вершине белой дюны стоит обгоревший на солнце пацан и смотрит мне в спину, прикрыв глаза ладонью.

Садясь в седло – это, конечно, сказано по привычке. Всю дорогу до Ильинки пришлось крутить педали стоя.

Я не сразу заметил, что еду не по грейдеру, а по неудобьям, по самому короткому пути к дому, по тетиве, где зимой пролегалла моя лыжня. Солнце не светило, а жгло. Велосипед трясло на неровностях почвы. Я механически крутил педали, а в голове моей крутились скучные мысли. Циничные и горькие. Я не понимал, как можно любить Мухомора. Но хорошо понимал, что под любовью понимает Мухомор. Эти мысли должны были меня утешить, но не утешали. Я замотал головой, и мысли перемешались, как бочонки в мешке для лото. И я стал думать, что было бы, если бы мой внезапно воскресший отец не бросил маму. Наверное, мама бы не переехала к бабушке в Ильинку. Я вырос бы в большом городе, среди других людей. В том мире не было бы старого бабушкиного дома, нашей школы. А о Новостаровке и Соленом озере я бы, скорее всего, ничего бы не знал. Их для меня просто не было. И девочку первого снега, излучающую свет, я бы никогда не встретил. Ее для меня тоже просто не было бы. Я бы встретил совсем другую девочку. Интересно, была бы она похожа на нее? Скорее всего, да. Таких девочек на всей Земле, может быть, тысяча. Может быть, меньше. А то, что я встретил ее, случайность. Все случайность. Даже то, что я родился. Эта мысль точно должна была успокоить меня. Но лишь сильнее расстроила. Очень плохо, что все вокруг – дело случая, и сам ты – пересечение случайностей. Но о чем рассуждать, если ты уже встретил ее. Какая разница – случайно, не случайно. Теперь я понимал,

о чем говорила мама: первая любовь, если она настоящая, это беда, большая беда. Катастрофа. И эта катастрофа случилась со Снежаной, полюбившей Мухомора. И со мной. Разве не катастрофа, если девочка, одна на миллион, за которую ты отдашь жизнь, называет тебя скотиной. И тут я проткнул камеру. И остаток дороги нес велосипед на себе.

Бороться за любовь. Что это означает «бороться за любовь»? С кем бороться? Как бороться? Еще раз набить морду Мухомору? Кого завоевывать? Завоеешь – и всю жизнь будешь чувствовать себя оккупантом. Единственный способ завоевать любовь – сделать так, чтобы тебя полюбили. Но что это значит? Даже Ефимка не знает. Стать не самим собой, а кем-то другим? То есть притворяться и лицемерить. Нет уж, лучше остаться скотиной, чем корчить из себя неизвестно что.

Царапину я обработал йодом и заклеил пластырем. О травме, которую мне нанес подкованный ботинок Мухомора, я никому не рассказывал. До тех пор, пока опухоль не выросла до угрожающих размеров. Пришлось идти в больницу.

Рассматривая гематому, хирург Каражигитов поинтересовался, как я получил травму.

– Катил под горку на велосипеде. Упал. Ударился о руль.

– Правильно. Так всем и отвечай. Но, между нами, как зовут велосипед?

Гематому удалили, рану зашили, травмированное место туго перебинтовали.

– Заживет твой стручок до свадьбы, – успокоил меня Каражигитов и посоветовал: – Главное, ты сейчас поменьше о девушках думай. Согласен, в твоём возрасте не думать о девушках невозможно. Но ты уж постарайся.

Моя травма его впечатлила. На утренних обходах он непременно спрашивал, снились ли мне девушки. И все интересовался вероломным велосипедом, который нанес мне столь редкую травму.

– Что нужно сделать, чтобы так разозлить велосипед? Значит, говоришь, поединок чести?

Когда он ушел, в палате заговорили о дуэлях и рыцарских временах.

Сосед справа, которому удалили кисту и два камня в почках, размечтался:

– Надо бы законодательно вернуть дуэли. Тогда каждый мерзавец знал бы: за подлость его проткнут шпагой или подстрелят как фазана. Подумал бы, прежде чем подлость делать.

Полиэтиленовые мешочки с кровью и мочой придавали серьезность этой мысли.

Сосед слева, которого готовили к операции, просветленный после клизмы, засомневался:

– А Вы уверены, что победителем в дуэли всегда будет правый? Я не уверен. Противника убивал тот, кто лучше фехтует или стреляет, кто элементарно сильнее. Я сомневаюсь, что наказан будет, как Вы выразились, именно мерзавец. По моим представлениям, именно мерзавцы, как правило, побеждали. Случай с Пьером Безуховым, который, скорее всего, споткнулся и, случайно нажав на курок, попал в своего обидчика, один на тысячу. Если бы не споткнулся, Долохов подстрелил бы его. Хладнокровно, как фазана. Обычно умные, талантливые, благородные и доверчивые люди становились жертвами завистников и негодяев. Если бы вы жили в эпоху рыцарей, Вашему мерзавцу достаточно было подойти к Вам и слегка ударить перчатками по лицу. Или просто оскорбить словом. И все. У Вас не было

бы выбора. Вы обязаны были вызвать его на дуэль. А он, прекрасно натренированный, имеющий за плечами не одну дуэль, проткнул бы Вас скуки ради. Или подстрелил бы. Как фазана. Вы, кстати, умеете фехтовать?

– Дело не во мне, – с досадой отвечал прооперированный, хорошо представляя, что значит быть проткнутым холодным оружием, – дело в принципе.

Кровь и моча в полиэтиленовых пакетах красиво переливались в солнечном пятне рубинами и янтарем.

– Все эти записные дуэлянты, провоцировавшие на поединки своих соперников по любви и уму, были спесивыми и надменными дураками. Они не терпели в других людях преимуществ. Особенно, если это касалось интеллекта. Вот и весь принцип. И эти дураки первыми бы аплодировали Вашему закону о дуэлях. Ваши рыцарские дуэли мало чем отличались от поножовщины уголовников. Разве что прикрывались лицемерными правилами. Уголовники – вот современные рыцари. Попроси такого не плевать на пол, и он тут же вызовет тебя на дуэль: «Выйдем, поговорим». Рыцари! Тьфу!

Но прооперированный сосед не сдавался:

– И все-таки мерзавцев нужно каким-то образом уничтожать, – сказал он весомо и добавил, как бы ставя точку в дискуссии: – Что-то я подустал. Откройте кто-нибудь окно. Воздух спертый. Дышать нечем.

Но его оппонент, разгорячившись, не унимался:

– Для такой дряни, что муху, что человека убить. Прихлопнул – и спит спокойно. А хороший человек изведет себя. Всю жизнь угрызаться будет. Совестью замучит. Рука не поднимется дрянь прихлопнуть. Вот потому подлые всегда одерживают верх.

– А говорят, у кого совесть спокойна, бессонницей не страдают.

– Лучше всего спят те, у кого совести вообще нет.

Ночью мне не снятся девушки. Ночью мне никто не снится, потому что я не сплю. Мама говорит, что любовь – это нечто духовное, возвышенное. Я бы очень хотел с ней согласиться. Но меня смущает, что никто не пылает любовью к преподавательнице литературы и русского языка Софье Григорьевне, старой деве – толстенькой и усатой. А ведь в нашем маленьком городке с деревенским именем нет, пожалуй, более светлого, одухотворенного и доброго существа.

Софья Григорьевна учила нас размышлять над прочитанным. Думать самостоятельно. Например, однажды она спросила, что стало бы с Пьером Безуховым и Андреем Болконским, если бы он, конечно, остался жив, в будущем. Это случилось на следующий день после того, как я встретил своего героического отца. И нужно было путем самостоятельных размышлений прийти к заранее известному выводу: из них бы получились декабристы. Я же сказал, что не уверен в этом, потому что и Болконский, и Безухов, и все другие населяющие роман люди для меня никакие не образы, не литературные герои, а именно люди. И никто не знает, что из кого получится со временем. Я, допустим, не берусь об этом судить. Так же как не знаю, что получится из моих одноклассников, и в том числе из меня.

Возможно, Софья Григорьевна и согласилась бы со мной. Но дело не в том, что ты говоришь, а как говоришь. Каким тоном. Не надо мне было при этом презрительно фыркать и криво улыбаться. Видимо, все эти ухмылки она приняла на свой счет.

– Вот как? – удивилась Софья Григорьевна. – А для чего тогда Толстой написал роман? Стоило ли это того? Что ты вынес из этого романа для себя? Какова его основная мысль?

– Счастье одних людей всегда построено на несчастье других людей. Так устроена жизнь, – отвечал я все тем же тоном.

– Объясни, – очки учительницы холодно сверкнули.

И я объяснил, что Пьер никогда бы не испытал счастья стать мужем Наташи если бы в сражении под Бородино не был смертельно ранен его единственный друг Андрей, а не очень любимая жена Элен своевременно не скончалась. И смиренная княжна Марья с ее прекрасными глазами и еще более прекрасным характером никогда не стала бы женой Николая, если бы Наполеон не напал на Россию, если бы не смерть старого князя и любимого брата, если бы не жертва Сони.

Я был готов самостоятельно размышлять в таком духе и дальше, но Софья Григорьевна прервала меня:

– Поскольку ты отрицаешь границы между литературой и жизнью, означает ли это, что и сейчас счастье одних невозможно без страданий и несчастий других?

И я ответил, что когда речь идет о взаимоотношениях между людьми, точнее, между мужчиной и женщиной, в этом нет никакого сомнения. Во всяком случае, лично я никогда не буду стремиться стать счастливым, потому что в этом желание уже заключено несчастье других. И добавил, что Софье Григорьевне это должно быть известно лучше, чем мне.

В том, что я сказал, не было ничего оскорбительного. Оскорбителен был тон, которым я это сказал.

– Садись, два.

– За что?

– За то, что ты не выучил урок, не раскрыл тему и увел разговор на банальные, далекие от литературы темы. Так поступают перепелки и другие полевые птички. Они делают вид, что у них перебито крыло, и уводят хищников от гнезда. Тебе этот прием не удался. Хотя урок ты сорвал, надо отдать тебе должное.

На следующий день, едва закрыв за собой дверь класса, Софья Григорьевна спросила: «Кто знает значение слова “литота”?». Печально оглядела она класс, и под этим взглядом мои одноклассники поникли головами. Я был единственным, кто не отвел глаза, и она подняла меня. И я ответил, что «литота» – антоним слова «гипербола». Проще говоря, литота – преуменьшение. «Садись, пять», – сказала Софья Григорьевна и объявила тему нового урока.

Не знаю почему, но меня возмущает формулировка «раскрыть образ князя Болконского». Для меня и князь Болконский, и Пьер, и Наташа – живые люди. И если мне будут постоянно напоминать, что они вымышленные персонажи, книги для меня потеряют всякое значение и смысл. Для меня все Ростовы, княжна Марья, Платон Каратаев – такие же жившие когда-то люди, как и император Александр, Кутузов, Денис Давыдов. Странно, но о большинстве живших когда-то людях забыли давно и прочно. Их как бы и не было. А эти вымышленные литературные герои живут и будут жить всегда. Странно, очень странно. Но я не хочу разрушать эту иллюзию. Для меня Наташа в начале – эта девочка первого снега. Как это печально, нехорошо, что девочки взрослеют.

Я стал думать, влюбился бы я в Снежану, если бы впервые встретил ее через пять лет? Я не хотел об этом думать.

Мне кажется, все проще.

А может быть, и сложнее.

Почему я влюбился в эту девочку, о которой я ничего не знаю? И почему девочка любит человека, который ее недостойн, которого и человеком назвать – большое преувеличение?

Я думаю о купидонах. О мифических младенцах с луками и стрелами. Профессиональных снайперов, поражающих не тех, кого надо.

Я думаю, что они существуют.

На самом деле – это еще не рожденные дети.

Вот, скажем, я случайно увидел девочку, излучающую свет первого снега, и мои будущие дети восторгались, закружились, волнуясь надо мной, зашептали: «Это она, это она, наша будущая мама!» И утыкали всего меня стрелами с ног до головы.

А девочка скользнула по мне равнодушным взглядом, и ее будущие дети, мерзавцы, промолчали, не узнали своего будущего отца.

Зато при виде Мухомора, спесивого тупицы и бандита, они подняли столб пыли и заорали хором: «Это он, это он, наш ненормальный папка, с которым ты еще хлебнешь горя. Непусти его!»

И ничего здесь не поделаешь. Зов природы, и никакой логики.

Хорошая девочка Снежана, ухаживавшая за разбитым инсультом котом Сократом и плакавшая на его похоронах, защищает не Мухомора, зарубившего топором собственного пса, не Мухомора, подло нападающего со спины, она, не осознавая этого, защищает возможного отца своих возможных детей.

8

Моя травма была вполне совместима с жизнью, и вскоре меня выписали из больницы.

Главным моим занятием было забыть девочку из Новостаровки.

Но это непросто.

Когда человек, которого ты хорошо знал, уезжает куда-то далеко-далеко и навсегда, это все равно как если бы он умер.

А когда человек умирает, ты можешь вообразить, что он уехал. Далеко и навсегда. И ты к этой мысли привыкаешь и смиряешься.

Но если ты знаешь, что человек живет от тебя в пятнадцати километрах по шоссе и в восьми напрямую, то никакого воображения не хватает представить его уехавшим навсегда, а тем более умершим.

Несколько раз я садился на велосипед и катил по высокому, как крепостная стена, грейдеру до Новостаровки. Но каждый раз останавливался у верстового столба 15/235, как бы натыкаясь на невидимую стену. И, постояв несколько минут, возвращался назад.

Я отвлекался тем, что вырезал лобзиком узоры для фанерной люстры. Занятие это кропотливое и требует полной сосредоточенности. Нужно постоянно следовать хитросплетению узоров. И это отвлекает от мыслей. Эту люстру – и узоры, и конструкцию – я придумал сам. Люстра должна была медленно вращаться от тепла лампочки, и при этом по потолку и стенам должны были пролетать птицы и пробегать звери. Одни в виде теней, другие в виде световых пятен.

Да, согласен, можно было найти занятие и более интересное. Но ни одно из них, кроме бега по сильно пересеченной местности да еще выколачивания пыли из ковра и боксерской груши, не отвлекало так от ненужных мыслей.

Возможно, ко времени завершения работы над вращающейся люстрой я бы забыл то, что хотел забыть.

Но люстру мне завершить не удалось.

Мухомор сдержал свое слово и отомстил мне за унижение.

Он не был человеком порядочным, он не был даже рыцарем. Во всяком случае, вызова на дуэль я не получал.

Он просто подкрался ко мне со спины, когда я поздно вечером возвращался через парк.

Так жители нашего райцентра зовут остаток березового леса, со всех сторон окруженного домами. Рошу пожалели и решили со временем окультурить: проложить асфальтные дорожки, провести освещение и поставить аттракционы.

Но до этого еще не дошло.

И очень даже хорошо.

Это был просто лес почти в центре Ильинки, где бабушки выгуливали внучат, а заодно собирали грибы.

Здесь и подкараулил меня Мухомор, спрятавшись за стволом старой березы.

Он подкрался сзади и ударил ножом в сердце.

Так он думал.

Но ошибся.

Мухомор полагал, что у меня, как и у всех нормальных людей, сердце слева. Но я не был нормальным человеком. Сердце у меня справа.

Иногда хорошо быть ненормальным.

Он ударил молча. А когда я упал, пнул мой труп и растворился в темноте.

Было довольно поздно и темно. Я бы мог истечь кровью. Но об меня запнулся случайный прохожий.

– Опять велосипед? – спросил меня хирург, когда я пришел в сознание. – С этим велосипедом пора серьезно разобраться.

Приходил следователь, и я ему сказал то же, что и хирургу: было темно, и я не разглядел, кто на меня напал сзади.

И это было правдой.

Мухомора я не видел. Я его слышал. Прежде, чем убежать, он сказал... Впрочем, то, что сказал Мухомор, не имеет общечеловеческой ценности.

Следователь спросил, пропали ли у меня ценные вещи. Посмотрел на выражение моего лица и не стал дожидаться ответа.

– Понятно. Золотого портсигара не носишь.

Потом спросил, что я сам по этому поводу думаю, и есть ли у меня доброжелатели.

Я пожал правым плечом и почувствовал боль в левом боку.

Возможно, предположил я, меня с кем-то перепутали.

– Возможно, все возможно, – посмотрел он на меня с легким осуждением. – Поправляйся. Я не прощаюсь. Как-нибудь загляну на днях. А ты попытайся вспомнить, что необычного произошло в тот день. Или накануне.

Я кивнул головой, и он ушел.

Я был большим неповоротливым язем и жил в гнезде на самом высоком дереве в лесу. На самой верхушке. Дул горячий ветер. Порывами. Листья шелестели. Гнездо раскачивалось. Вот-вот упадет. Но я не мог покинуть гнездо, потому что не умел летать. А улетать надо: горел лес, и жара становилась непереносимой. Еще немного, и огонь охватит большое дерево, вспыхнет сухое гнездо, и я поджарюсь. Что это было за дерево? Береза не береза, осина не осина. Скорее всего, тополь циклопических размеров. Но это даже не дерево. Это Эйфелева башня из раскаленного металла. А мне предстоит сделать стойку на руках. На самой ее макушке. «А сейчас о погоде, – говорит диктор, – страну заливают дожди, поэтому сохраняется высокая степень пожарной опасности. Будьте осторожны с огнем в воде. Не курите и не разводите костры на вершинах деревьев».

Гнездо затрещало и зашипело, как сковорода. От жары трудно дышать.

Я открыл глаза. Шумит дождь. Струи гремят по жести.

В дверях реанимационной палаты стоит ангел с большими белыми крыльями.

Я закрыл глаза, и в полной тьме эти крылья все так же светились. Сон хорош тем, что не нужно объяснять все нелепости и несуразности, происходящие с тобой. Не нужно объяснять, почему я язь, которому во что бы то ни стало необходимо сделать стойку на руках. И то, что над нашим районом летают белокрылые ангелы, меня тоже не удивило. Знаете, я чувствую в себе предков, живших до появления первого человека. Начиная с первой рыбы, выползшей на сушу. Иногда во сне я становлюсь норным животным, прислушивающимся в своей пещерке к сотрясению земли над головой. При желании наяву я могу вообразить себя всем чем угодно. Допустим, белкой-летягой, планирующей с дерева на дерево. Говорят, среди предков человека не было птиц. По-моему, ошибаются. Мне очень легко представить себя летящим существом. Одно ясно: среди моих дочеловеческих предков было больше добычи, чем хищников.

Я открыл глаза. Это не ангел, а нечто более невероятное. Снежана. На плечи ее накинут белый халат не по росту. Она стоит и смотрит на меня с испугом и состраданием.

Так мне показалось.

– Пожалуйста, пожалуйста, – прошептала она, – не говори, что это сделал Ляня. Если его посадят в тюрьму, он погибнет. Ему уже исполнилось восемнадцать. Его будут судить как взрослого. Его еще можно спасти. Он хороший, хороший. Его никто не понимает.

Все, что угодно, ожидал я услышать от нее, только не это. Она могла спросить, не больно ли мне, как я себя чувствую. Но не было в ней сочувствия ко мне, а был лишь страх за судьбу Мухомора.

Я едва не задохнулся от обиды.

Нехорошие, циничные мысли поднялись со дна души, как ил в чистом озере.

«Хороший на хорька похожий, – подумал я о Мухоморе. – Конечно, его надо спасти. Спасти, что бы он еще кого-нибудь зарезал».

Я закрыл глаза и молчал, прикусив язык, потому что от обиды мог сказать что-нибудь грубое, злое. В таких случаях лучше молчать. Нет другого, кроме трусости и страха, чувства, унижающего мужчину, чем обида. Чувство слабака. Я не могу не обижаться. Но учусь подавлять обиду сразу, как только она дает знать о себе. Я пытаюсь избавиться от этого девчоночьего, унижающего мужчину чувства. Я досчитал до десяти. И еще раз до десяти. А потом стал считать до ста.

Наконец, я справился с обидой и открыл глаза. Я смотрел на нее и думал, за что она любит этого жестокого и спесивого труса? За то, что может ударить по лицу девчонку? За то, что может зарубить топором привязанного на цепи пса? За то, что может напасть с ножом сзади?

В любви этой светлой, хрупкой девочки к порочному и подлому Мухомору было что-то темное, зловещее, необратимое. Как притяжение черной дыры. Это притяжение ужасает. Но нет сил сопротивляться ему. Было в ее отношении к Мухомору нечто гибельное, обреченное.

Я смотрел ей в глаза. Я хотел через взгляд, без слов передать все, что думаю. И мне казалось, что она понимает меня. Да и что тут понимать?

Я, конечно, не сказал и не скажу следователю, что меня, подкравшись сзади, ударил ножом Мухомор. Но не потому, что горю желанием спасти его от тюрьмы. Там-то как раз и самое место для психопата. Я просто не хочу, чтобы в этой истории была замешана она, девочка, которая стоит передо мной и умоляет, чтобы я спас от тюрьмы подонка. Обойдемся без следователя. Просто, когда заживет рана, я подкараулю Мухомора и убью.

Я снова закрыл глаза. Снова досчитал до десяти. И успокоившись, насколько это было возможно, сказал холодно и отдельно:

– Я не видел труса, который напал на меня сзади.

Она потупила глаза и зашептала:

– Спасибо, спасибо. Я пойду, а то на последний автобус опоздаю. Это яблоки с нашей яблони. Ефимка хотел приехать...

Я взял ее за руку и сказал:

– Он психопат. Его уже не исправить. Спасать нужно не его. Спасать нужно тебя.

Она осторожно высвободила руку и повторила:

– Я на автобус опоздаю.

Никто не может объяснить, почему человек любит или не любит другого. Никто. Не любит – и все. Что здесь объяснять?

Но любовь не должна приносить столько боли и страдания, в сравнении с которыми ножевая рана – не более чем укус комара. Если тебя не любят – отстань. Иначе ты просто сумасшедший. Значит, есть в этом Мухоморе что-то, чего нет во мне. И на здоровье. И точка. Забудь.

Но я не мог сопротивляться ее притяжению. И в этом притяжении тоже было что-то темное. Непреодолимое.

На меня накатывали волны жара. И с каждой новой волной во мне нарастала ненависть. Больше всего на свете я хотел убить Мухомора. Уничтожить его физически. Я пытался увернуться от этой мысли, но она возвращалась вновь и вновь, как бумеранг, который мы сделали с Ефимкой из двух сломанных клюшек. Да, я пытался отвлечься от желания убить человека. Мухомор, каким бы отвратительным мерзавцем он ни был, все-таки человек. Но я не мог справиться с приступами ярости. Это тупое и слащавое существо не сомневается в своем праве решать, жить или не жить человеку. Он, недоумок, присвоил себе божественную привилегию решать человеческие судьбы. Я мог бы простить ему удар в спину. Но я никогда не прощу ему то, что он сделал с девочкой первого снега. Я никогда не забуду его надменную морду, когда он ударил ее по лицу.

Но что значит убить Мухомора? Как ты это сделаешь? Подкрадешься с ножом, подкараулишь с Ефимкиным ружьем? Одна мысль о способе убийства вызывала во мне омерзение и содрогание. Убить Мухомора – означало стать Мухомором. Единственное, что мне пришло в голову – вызвать его на дуэль. Но было что-то противоестественное и даже смешное в том, чтобы вызвать на рыцарский поединок чести существо без чести и совести.

Пытаясь успокоиться, я стал вспоминать стихи Федора Ивановича Тютчева Человека, открывшего для меня бездну, которая поглощает человечество поколение за поколением. Черную бездну забвения, из которой нет возврата. По идее, эта бездна должна была бы делать все наши радости, страдания, саму жизнь бессмысленными, напрасными. Но Тютчев смотрел в эту бездну с печальным, спокойным мужеством и достоинством человека чести и долга, холодного философа и дворянина. Мне тоже хотелось быть холодным и рассудительным, смотреть в эту бездну, не мигая, с печальным прозрением человека, пережившего крушение, избавившегося от наивных фантазий, мечтаний, снов, заблуждений и очарований. Я надеялся, что созерцание этой бездны излечит меня от мучительного и неотвязного чувства, которое люди называют любовью.

Пока я, погруженный в жар, размышлял, что мне делать с Мухомором, что-то тревожило меня, отвлекало.

На прикроватной тумбочке рядом с пакетом яблок лежала моя медаль. Пасмурный свет дождливого дня смутно мерцал в ней.

Я взял медаль в руки, и стало ясно, что с этой секунды у меня начинается новая жизнь. Скучная жизнь без иллюзий. Я никогда больше не увижу свет, исходящий от другого человека. А когда я увижу Снежану... Нет, никогда я ее больше не увижу. Но всякий раз, когда буду думать о ней, вспомню Мухомора. И придет омерзение, переходящее в презрение. У Мухомора свои представления о любви. И в тот день, когда он ударил ее по лицу... Мог ли он сделать это без того, чтобы между ними не произошло то, что должно было произойти? О любви Мухомора и любви к Мухомору я не мог думать без омерзения. Так заведено природой. И когда приходит время, девочки поступают так, как им велит природа. И по-другому они поступить не могут.

Нет, никогда больше я не встречу девочку, которая светится изнутри. Никогда.

Если можно любить Мухомора, что такое любовь? Есть ли она вообще? Не придумали ли ее писатели?

Огромная тень Мухомора накрыла мир.

Пришла мама, и я подумал, что все-таки есть люди, которые светятся.

К ночи у меня поднялась температура до опасных пределов. Медсестра сказала, что, видимо, в рану попала инфекция, которую не добились антибиотики.

Я подумал, усмехнувшись, что это не инфекция, а споры гриба.

Ночью меня мучили кошмары.

Моя плоть распалась, как старый пень.

Гриб прорастал сквозь меня, и сам я постепенно превращался в ярко-красный, как губная помада, пятнистый мухомор. Огромный, омерзительно красивый, влажный гриб с отвратительным запахом.

Люди, знакомые и незнакомые, шарахались от меня. Собаки облаивали, коты выгибали спины, гуси вытягивали шеи и шипели, мамы прикрывали собой детей.

И даже моя мама меня не узнавала. А хирург Каражигитов говорил, сумрачно покачивая головой, что, к сожалению, процесс превращения человека в гриб зашел слишком далеко и уже необратим. Терапевт соглашался с ним и, тоже покачивая головой, подтверждал: медицина бессильна.

9

Телесная рана моя затягивалась. Что касается душевной, я изо всех сил старался не думать о Новостаровке и ее жителях.

Но не думать о том, что непременно надо забыть, невозможно.

Особенно по ночам, когда остаешься совсем один.

В одну из таких ночей я протер от пыли сиреневые линзы моего самодельного телескопа и заглянул в туманные глубины космоса.

Я не впервые видел эту бездну, но впервые почувствовал себя глазами всего человечества. Жутковато почувствовать себя единым организмом с миллиардами подобных тебе существ. И среди этих миллиардов были и Ефимка, и Снежана. И даже Мухомор. (...)

Я всматривался в сумрачные глубины Вселенной. А между тем в близкой Новостаровке назревало событие, которое можно было приравнять к космической катастрофе.

В тот день на Белых песках было многолюдно. На днище занесенной песком, догнивающей лодки сидел Леонид Груздев по прозвищу Мухомор и, прикрыв глаза, покачивая в такт головой, перебирал струны гитары. Вокруг лодки стояли, сидели и лежали загорелые пацаны и также покачивали головами, замороженные ритмом. Мухомор не любил воды и солнца. Он никогда не купался и не загорал. На пляже он был единственным человеком в одежде. Между ног его стояла бутылка портвейна, которой он время от времени вдохновлялся. Из горлышка.

Мухомор, выпятив челюсть, слегка гнусава и брызгая слюной, пел. Вполне возможно, песню собственного сочинения. Содержание ее было таково. Молодой уркаган просил гражданина начальника отпустить его «до дому»:

– Ты начальник чифир-чайничек,

Отпусти, отпусти меня до дому.

Там соскучилааась,

А может, ссучилааась

Молода, молодая дроля...

Но бездушный начальник чифир-чайничек довольно ехидно советовал молодому уркагану:

– А ты попей, попей воды холо-лодненькой

Про любо – про любовь забу-будешь.

Молодой уркаган, шибко опечаленный отказом, предавался воспоминаниям:

– А пил я воду, а пил холо-лодненькую,

Пил – не напивался.

А полюбил на свободе молодую косомоло-моло-молочку –

Ею нас-, ею нас-с-слаждался...

Далее молодой уркаган, растревоженный воспоминаниями о большой и светлой любви, совершает побег из мест заключения, пьет воду из болотц, питается ягодой брусникой и, в конце концов, добирается до места жительства молодой косомоло-моло-молочки.

И застает ее с моло-молодым фраером.

Блатная баллада заканчивалась, как и должна была заканчиваться: молодой уркаган зарезал финкой молодую комсомоло-моло-молочку вместе с фраером дешевым. Его повязали, несправедливо осудили, и вот он снова сидит на нарах, вспоминает молодую комсомоло-моло-молочку.

После душераздирающих заключительных аккордов потрясенные пацаны молчали, а затем разом заговорили о любви и женской неверности.

Леонид Груздев по прозвищу Мухомор слушал их с выражением покровительственного презрения бывалого человека, так и не вернув челюсть на место.

Наконец, он подобрал челюсть, сплюнул и сказал:

– Все они одинаковы. Я могу любую уболтать.

По очереди обвел взглядом всех пацанов и остановился на рыжем пареньке, в глазах которого читался вызов.

– Не веришь? – спросил его Мухомор. – У тебя есть девчонка? Познакомь. На спор: через день она будет моей.

– Нет у меня девчонки, – поспешно сказал рыжий, отводя глаза, сплюнул и добавил: – Все они такие.

– Все? – спросил Ефимка зло. – И твоя мамка тоже?

Если бы рыжий кинулся в драку, может быть, ничего бы, кроме нескольких синяков, и не случилось. Но рыжий был труслив и только хмуро посмотрел на Ефимку да показал ему кулак. А между тем Ленья Мухомор продолжал делиться с салажатами своим опытом:

– С ними нужно как с кошками. Приласкать, погладить, нашептать разное, пока не замурлыкает. А когда замурлыкает, не теряйся. Главное, чтобы она знала: это безопасно, и никто об этом не узнает. стакан вина – и она твоя...

– Врешь ты все, Мухомор, – прервал его Ефимка.

– Вру? – усмехнулся тот. – А ты свою сеструху спроси – вру я или не вру.

– Ну, Мухоморина, твоя смерть пришла, – закричал Ефимка и бросился на Мухомора с кулачками.

То, что произошло затем, и было вселенской катастрофой. Потому что в следующую секунду погибли вселенные, составляющие Ефимку.

Мухомор, не вставая и даже не прикрыв гитару, а все также мерзко ухмыляясь, выставил длинную руку, и Ефимка наткнулся сердцем на заточенный напильник.

Именно на то, что Ефимка был убит не ножом, а напильником, предметом для убийства не предназначенным, особо напирал защитник Мухомора на выездном суде, который проходил в клубе, до отказа заполненным новостаровцами.

Казалось бы, какая разница, чем убит Ефимка, мечтавший подарить человечеству бессмертие?

Но адвокат утверждал, что убийство было неумышленным. И даже случайным. Просто несчастный случай.

На вопрос обвинителя, отчего предмет ремесленного назначения был остро заточен, адвокат отвечал, что заточен он был без умысла, в результате долгого применения.

Обвинитель спросил, отчего же предмет, место которому в ящике для инструментов, Леонид Груздев носил в кармане? Адвокат отвечал, мало ли что мы носим в карманах. Тогда обвинитель принялся молча обшаривать собственные

карманы и выкладывать перед собой все, что обнаружил в них, предварительно демонстрируя их суду и объясняя предназначение:

– Вот кошелек. В нем деньги, необходимые мне для карманных расходов. Вот ключи. Без них я не попаду в свою квартиру. Вот портсигар. Вредная привычка. Но заметьте, все эти предметы мне необходимы на каждый день. И когда утром я раскладываю их по карманам, я знаю, для чего они мне нужны. Вот, кстати, носовой платок. Его предназначение понятно каждому. Расческа. Но никаких напильников, рубанков, фуганков, никаких кофемолок в моих карманах нет.

Все это я узнал потом, со слов рыжего пацана. И отчего-то мне был неприятен этот спор адвоката и обвинителя.

Рыжий рассказал мне также, что, убив Ефимку, Мухомор сказал:

– Дурак. Допрыгался.

И я очень, очень пожалел, что не убил Мухомора в свое время. Я пожалел, что не назвал его имя следователю. Очень я о многом пожалел.

На суде Мухомор держался героем. Скучным взором осматривал потолок, ухмылялся без повода и выпячивал челюсть. И даже последнее слово, в котором он просил снисхождения в связи с его молодостью, он зачитал по бумажке с презрительной ухмылкой. И не было в нем раскаяния и чувства вины.

Когда зачитали приговор: десять лет колонии строгого режима, отец Ефимки дядя Коля привел в исполнение свой приговор. Накануне ночью, запершись в бане, он отрезал ножовкой по металлу у ружья, подаренного Ефимке дедом, часть ствола и приклада. Он выстрелил из обреза в лицо Мухомора с близкого расстояния картечью.

Многие новостаровцы его поступок одобряли, многие осуждали за самосуд.

Но, узнав об этом, я испытал стыд, потому что то, что сделал дядя Коля, должен был сделать я в тот день, когда Мухомор ударил Снежану по лицу. И Ефимка, и дядя Коля поступили как мужчины. Ефимка погиб, дядю Колю осудили на десять лет, но они избавили Новостаровку от уроды. И если бы это сделал я, они были бы живы.

10

Где граница между жизнью и смертью?

Вот живой человек, а через секунду он уже мертв. Без всякого перехода.

Все событие – секунда.

Но эта секунда, когда остро заточенный напильник пробил сердце Ефимки, растягивается на всю жизнь людей, близко знавших его. Ты продолжаешь жить, а она все тянется и тянется. И такая тоска, такая тоска. В этой секунде заключена вечность. Как и в любой смерти. Она заполняет все пространство прошлого, настоящего и будущего, вытесняя тысячи других событий, которые казались такими важными. Что важно перед простым фактом: Ефимка мертв. Его больше нет.

Когда я узнал о смерти Ефимки, то пошел на автостанцию и купил билет до Новостаровки. Сошел на въезде в село у верстового столба, с одной стороны которого была цифра 15, а с другой – 235. Отсюда был самый короткий путь к кладбищу. Я знал, где найти Ефимку в этой деревне мертвых. Тополь в центре кладбища был виден со всех сторон. Я пробирался через тесноту оград, крестов, тумб со звездами, кустов сирени и черемухи, не теряя из вида тополь. Он рос и рос, пока не закрыл собой все небо. Рана моя, растревоженная дорожной тряс-

кой, ныла. Но эта боль не то чтобы отвлекала меня, но вносила равновесие в настроение.

У ограды стояла она.

На всем кладбище было два живых человека: я и она.

Она повернула голову на звук моих шагов.

Посмотрела без выражения.

И отвернулась.

Меня неприятно поразило одно обстоятельство. Впервые я не увидел свечения, исходящего от нее. Все в ней было обыденно, скучно.

Я остановился с противоположенной стороны ограды.

Между нами под землей лежал Ефимка.

Я молчал.

Нужно было хотя бы поздороваться. Но мне показалось странным желать здоровья на кладбище.

И о чем было говорить? Спросить, как дела?

Я думал о Мухоморе. Я не мог не думать о нем. И у меня не было желания утешать ее. Я просто подумал: всякий раз, когда встречу ее, я подумаю о Мухоморе.

Это очень, очень неприятно.

Что я мог сказать? Жалею о том, что не я убил Мухомора?

Лучше уж молчать.

На кладбище принято молчать.

И я молчал.

Был день без солнца. Небо заасфальтировано серым, сквозь эту ровную серость едва проглядывала блеклая протертость.

Пусто было на этой планете, бессмысленно.

Мои нерожденные дети с луками, но без стрел в колчанах расселись молодыми воронятами на могильных оградах, наохлились, понуро наклонив головы. Они умирали, не родившись, один за одним, растворяясь в воздухе.

Я подошел к калитке, у которой стояла она. Достал из кармана латунную медаль Новостаровской олимпиады и молча протянул ей. Она спрятала руки за спину и отрицательно покачала головой, не поднимая глаз.

Я открыл калитку. Вошел на территорию Ефимки и повесил медаль на крест.

11

Вечером за чаем мама спросила, размешивая в стакане малиновое варенье:

– Как звали девочку из Новостаровки, о которой ты мне рассказывал?

Она была спокойна и сосредоточена. Ложечка вращалась быстро, но не соприкасалась со стеклом и не издавала ожидаемого звона.

То, что испытал я, могут понять только люди, впервые почувствовавшие подземный толчок и гул земных недр.

Я назвал ее имя, ожидая услышать самое страшное: Снежаны больше нет в живых. Мне представилась пустая лодка на середине Соленого озера. Лодка покачивалась на волнах, и цепь, на которую ее приковывали к ржавому штырю, вбитому в берег, глухо и чуть влажно билась о борт.

Деревянный, повернутый к небесам колокол.

Она, причина смерти брата и осуждения отца, не вынесла чувства вины и... Ну, почему там, на кладбище, я не заговорил с ней, не обнял за плечи, не сказал... Что я мог сказать? Да все равно что.

Мама смотрела на воронку в стакане.

– Бедная, бедная девочка, – сказала она сурово и, помолчав, продолжила тем же жестким тоном: – Сегодня на педсовете представитель РОНО сообщил ужасную новость...

Новость была действительно ужасна, и все-таки в первую секунду я испытал облегчение.

Она не умерла.

Она была беременна от убийцы ее брата.

Но учителей ее самоубийство взволновало бы меньше. Во всех педагогических коллективах не только нашего района, но и всей области обсуждалось это событие. А, возможно, и по всей республике. В те годы подобное было происшествием чрезвычайным.

– Бедная девочка, – тем же холодным отстраненным тоном закончила мама, – сколько сразу на нее обрушилось. Даже взрослому человеку нелегко пережить такое, а она еще совсем ребенок.

Секунда облегчения прошла, и меня едва не стошнило от омерзения. Я представил, где, когда и как это случилось. Надменно-слащавая, блатная рожа Мухомора, ухмыляясь, смотрела на меня из чайника. Я закрыл глаза, но рожа не исчезала.

– Что ты делаешь? – спросила мама.

Не осознавая своих действий, я скручивал ложку.

Мне было плохо. Так плохо, что ничего хуже не было.

Рожа Мухомора смотрела на меня отовсюду, лишая способности рассуждать просто и здраво. Чем сильнее пытался я избавиться от этого омерзительного видения, тем неотвязнее преследовало оно меня.

Мама положила свою руку на мою.

– Это пройдет. Это нужно пережить, – сказала она.

Я не был в этом уверен.

Я не спал всю ночь. Ворочался с боку на бок. Вставал. Подходил к окну. Все тщетно. Куда бы я ни смотрел, я видел одно и то же. Даже если закрывал глаза.

На ночном небе висела слащавая рожа Мухомора и сияла золотой фиксой.

Что я мог сделать? Ничего. Но именно ничегонеделание и было самым тяжелым занятием.

Я пытался успокоить себя. Ты здесь ни при чем, тебя это не касается. Пусть все идет как идет. Мама права: нужно просто жить. Жить, жить и пережить.

К утру рожа Мухомора потускнела, и я стал думать о Снежане.

О девочке первого снега, которую впервые увидел, нарезая круги на льду Соленого озера.

Шубка колокольчиком, шапка с длинными ушами, валенки. Она держит в руках золотой веник, как букет цветов, и вся светится. А рядом с ней лопухий, суровый пацан Ефимка. Где он теперь?

Где теперь эта девочка?

Осталась в прошедшей зиме, растаяла вместе с первым снегом.

Время, вперед! Время, вперед! Что может быть глупее этой фразы? Оно и без нас идет туда, куда идет. Ты попробуй скомандовать: время, назад!

Невыносимая необратимость времени наполнила меня таким бессилием, что я замычал в отчаянии.

Острая жалость пронзила меня, и я почувствовал себя трусом и мерзавцем.

Я не мог стоять в стороне и ждать, когда все пройдет само собой.

Что пройдет? Куда пройдет? Когда пройдет?

Кто у нее остался, кроме мамы?

Скоро она сама станет мамой. Мерзкая морда Мухомора появилась на секунду и растворилась в сиянии первого снега.

Она одна. Совсем одна. Что она сейчас делает? Не спит. Смотрит в темноту. И видит то, что вижу я: нет выхода. Всюду – беспросветное отчаяние.

Я должен как-то поддержать ее. Сказать хотя бы то, что сказала мне мама: все пройдет, надо пережить. Неважно, что сказать, лишь бы быть рядом.

Сказать, что я остаюсь ее другом.

Что это значит?

Соблюдение приличия и не более того. Так люди на похоронах выражают сочувствие родственникам покойного. Друг. И что дальше? Ей нужно действительно помочь. Спасти. Найти выход из этого отчаянного положения.

Сказать еще раз, что мое предложение остается в силе?

Другими словами, я благородно жертвую собой. И своим благородством унижаю ее еще сильнее.

Сказать, что мне плевать на то, что у нее будет ребенок от Мухомора?

Но мне не плевать. Во мне все закипает от ярости. Я жалею, что вовремя не убил его. Потом я думал об отце. Не мертвом и не живом. О живом мертвце. И отчего-то мне очень хотелось знать: действительно ли он спас тонущего щенка или это выдумала мама.

А может быть, правда – время все лечит? И пережить можно все – и вину, и позор.

Позор.

Я снова увидел ее со спины, на кладбище. И жалость с новой силой захлестнула меня. Я должен ее спасти. Избавить от позора.

И вдруг меня осенило.

Спасти, избавить ее от позора означает одно: назваться отцом ее ребенка.

Очень простое решение.

Да, я приеду и скажу ее маме, что не Мухомор отец ее ребенка, а я.

Спасти ее от позора и вины можно только разделив с ней позор и вину.

И как только я подумал об этом, то тотчас же успокоился и заснул.

Почему я успокоился?

Я не смог убить Мухомора. И никогда не смогу. Потому что убить Мухомора означает самому стать Мухомором. Даже желание убить мерзавца уже отчасти делает меня Мухомором. Да, я не смогу убить Мухомора, но я могу и должен убить Мухомора в себе. И как только я решил взять вину Мухомора на себя, сам Мухомор мгновенно превратился из мерзкого чудовища, вселенского зла в жалкое ничтожество. Насекомое.

Освободившись от Мухомора, я почувствовал себя почти бессмертным. Почти богом. А бессмертным богам нет дела да такого презренного существа, как Мухомор. Да, есть такой ядовитый гриб. Ну и что? Встретишь его в лесу и обойдешь, будто его и нет.

И когда я заснул, мне приснился очень странный сон. Липкий, вязкий, древесный. Страшное, отвратительное и прекрасное откровение. Будто я тот, кто сейчас внутри Снежаны. Но при этом она как бы была и Снежаной, и мамой. А сам я был маленькой слепой рыбой. Чем-то вроде налима. И в то же время я был тем, кто смеялся над Снежаной, потому что я был внутри нее.

Есть сны, от которых можно сойти с ума, если вовремя не проснуться.

Я проснулся от приступа клаустрофобии, ужаса замкнутого пространства, и долго не мог понять, кто я, не мог узнать свою комнату, не мог определиться со сторонами света.

Я проснулся совсем другим человеком, чем был вчера. Я был взрослым. Я знал то, что не могут и не должны знать люди в моем возрасте. То есть то, что я о себе ничего не знаю. Но я знал, кем никогда не буду. Я не стану Мухомором и моим отцом. Никогда.

И еще мне стало ясно: то, что случилось со Снежаной – просто несчастный случай. Такое часто бывает с детьми. Съедят не ту ягоду. Спрячутся от грозы под одиноким деревом в поле. Приласкают незнакомую собаку. А собака – бешеная. Разве можно осуждать ребенка за наивность и доверчивость?

И с этой мыслью я снова заснул и никаких снов не видел.

Я проснулся в очень хорошем настроении.

Мне захотелось поговорить с мамой.

Я был уверен, что мама согласится со мной. Мне казалось, что в мире нет другого человека, который мог бы посочувствовать Снежане так, как мама.

Но мама мне не поверила и особого сострадания не проявила. Она испугалась.

– Ты хорошо все обдумал? – спросила она строго. – И сострадание должно иметь какие-то границы. Грех оговаривать себя. Не слишком ли много ты приносишь в жертву?

– А что я приношу в жертву?

– Тебе еще надо учиться. Ты жертвуешь собой, своим будущим.

– В жертву я приношу не себя, а тебя, – успокоил я ее. – Пока я буду учиться, вы со Снежаной будете воспитывать малыша.

– Пять лет – большой срок. Может случиться так, что ты встретишь другую девушку, полюбишь ее, а руки твои будут связаны.

– Могу встретить, могу не встретить. Будем решать проблемы по мере поступления.

Мама помолчала и сказала тихо:

– Есть события и поступки, которые никогда не забываются и не прощаются. Есть вещи, которые забыть невозможно.

Я хорошо понимал, что она хочет сказать, но не хотел это слышать.

– Да, да, конечно, – прервал я ее, – но представь себе: тонет щенок. А мы с тобой стоим на берегу и рассуждаем, а нужно ли его спасать, не холодна ли вода, а что с ним потом делать...

Мама так холодно посмотрела на меня, что я засомневался в способности отца в принципе броситься в холодную воду, чтобы спасти тонущего щенка. Как-то это не совмещалось: щенка спас, а маму оставил. Что-то не цеплялось одно за другое, прокручивалось.

– В конце концов, ты еще несовершеннолетний. Она тоже, кстати.

– Ну и что?

– Тебе рано быть мужем. Вас никто не обвенчает. В конце концов, я не решаю.

– И не надо. Мы поженимся через пять лет. А пока Снежана будет просто жить у нас. Просто жить – и все. Как бы родственник.

– Ты куда?

– В Новостаровку.

– Давай подождем до воскресенья. Что может измениться за три дня?

Я вспомнил Ефимку и подумал, что все может измениться за одну секунду.

А мама посмотрела на меня издали-издали и добавила:

– Всего три дня. И у тебя будет время все хорошенько обдумать.

Интересно, подумал я, были эти три дня у моего героически погибшего отца? И что он за три дня надумал?

– Давай договоримся: мы поедем вместе. И позволь поговорить со Снежаной и ее мамой мне. А знаешь, будет лучше, если я сама съезжу в Новостаровку. Поверь мне. Дождемся воскресенья.

– А чего ждать, если все решено.

Я раскручивал педали, добавлял и добавлял, но все казалось, что еду медленно.

И было у меня такое чувство, что надо торопиться, что опоздай я на минуту, и случится что-то непоправимое.

Я ускорялся и ускорялся, а между тем цепь равномерно и равнодушно билась о пустую лодку на середине Соленого озера.

Глухой деревянный колокол.

Меня обогнали красные «Жигули», на крыше которых были привязаны две пластмассовые бочки. Они погромыхивали и гудели изнутри.

Из переднего окна высунулась пухлая рука и замахала мне, требуя остановиться.

Заднее сиденье было плотно забито плетеными корзинами, ведрами и людьми.

В окно высунулась женская голова в пляжной панаме и спросила, не поздоровавшись:

– Ты местный?

Я кивнул.

– Где у вас здесь грибные места?

– У нас все леса грибные, – ответил я, – только в этом году грибов нет.

– Отчего так?

– Дождей давно не было.

– А нам сказали, грибов хоть косой коси, – обиделась женщина, – зачем мы три часа из самого города перлись?

– Да вы не расстраивайтесь, – утешил я ее, – поезжайте в «Зарядье», там недавно дожди прошли. А где дожди, там и грибы.

– А далеко ли это «Зарядье»?

– Поезжайте назад. Как переедете плотину, по бетонке выедете на грейдер. Поворачивайте налево, и через километров пятьдесят справа увидите арку. Сворачивайте налево. Полевая дорога вдоль озера приведет вас к Сардониковой даче.

Не поблагодарив меня и не попрощавшись, тетка подняла стекло. После бурного совещания в салоне «Жигули» круто развернулись и на бешеной скорости помчались назад.

Люди опасались, что грибы до их приезда могут разбежаться и попрятаться. Красные «Жигули» давно исчезли за ближайшим леском, и шум мотора растворился в тишине, а я стоял и смотрел на пустую дорогу.

И чем дольше стоял, тем сильнее сомнения одолевали меня.

Пустая лодка больше не гудела тревожным колоколом.

Я стоял и думал, что мама была права. Ну вот я приеду – и что? А мама найдет что сказать. И что пороть горячку? Надо все обдумать. Да, да, будет лучше, если две мамы переговорят между собой и решат, как все правильно устроить.

И тут мимо меня пропылил автобус из Новостаровки. Чья-то ладошка в заднем окне помахала мне. И я помахал в ответ.

И так стало на душе печально и пусто. (...)

...Это был год больших перемен для страны. Но мне казалось, что они меня не касаются. Как меня не касались дожди, снега, слякоть, ураганные ветра. То есть они на меня оказывали какое-то влияние, но поскольку от меня ничего не зависело, не было смысла и переживать. Ну, стихийное бедствие, и что?

Но оказалось, что все эти события касаются напрямую именно меня.

Когда мы в воскресенье приехали в Новостаровку с мамой, в доме Пановых уже жили другие люди.

Вроде бы ничего не изменилось. Из почтового ящика торчали газеты. На газетах – фамилия прежних хозяев. Все так же искалеченная сосна укрывала лохматой лапой древнее жилище. Но как же пусто было вокруг.

– А куда они уехали? – спросила мама новых хозяев.

– Чего не знаем, того не знаем. Нас это как бы и не касается. Мы-то сами с Синеглинки. Спросите у местных, может быть, кто и знает. У соседей поспрашивайте. Соседи все знают.

– А когда они уехали? – спросил я, уже зная, чья ладошка помахала мне из окна автобуса.

– Какой же это день-то был? Сегодня воскресенье. Выходит, в среду.

Значит, если бы меня не остановили грибники, если бы я не торчал верстовым столбом на грейдере, я бы мог застать их.

Женщина у колодца на вопрос мамы в свою очередь полубопытствовала:

– А кто вы им будете?

– Так. Знакомые.

– Вы уже знаете, что случилось? – пригорюнилась тетка. – Она же дочку от позора увозила, разве же по такому случаю адрес оставляют? Дом-то, считай, за бесценюк отдали вместе с лодкой и мотоциклом. Хорошо, если на билет хватило. Я так думаю, на родину она уехала. А вот точно сказать не сумею, с Украины или Молдовии она к нам приехала. Говорят, сама-то она чуть ли не из немцев будет по матери. Может быть, и в Германию укатили. Но со мной она не делилась. Хотя всю жизнь общий плетень имели.

И тут я вспомнил почтовый ящик, забитый газетами.

Вспомнил, вернулся к дому под сосной и постучал в дверь.

– Письма? – переспросил новый хозяин. – Нет, писем не было.

С этими словами он открыл почтовый ящик, и на землю упал конверт.

Это было письмо от дяди Коли.

– Я его перешлю, – сказал я, поднимая конверт.

Новый хозяин изобразил лицом гримасу безразличия:

– Смотри. Как знаешь. А то могу и почтальону вернуть.

В тот же день я вложил письмо дяди Коли в конверт и отослал назад на его адрес с короткой припиской, в которой сообщил об отъезде семьи и попросил выслать новый адрес Снежаны.

Ответа долго не было. Очень долго. Но через несколько месяцев он все-таки пришел. «Снежаны больше нет, – писал дядя Коля аккуратным, разборчивым почерком, – она умерла при родах. Этот негодяй все-таки убил и ее».

Вот и вся история короткой жизни девочки первого снега.

Я прочитал письмо дяди Коли, и время остановилось.

Раньше я думал: «окаменел» – преувеличение. Никакого преувеличения. Вот пошевелюсь – и все во мне разрушится, раскрошится, распадется. И весь этот хрупкий мир растрескается, как «небьющееся» лобовое стекло.

Но всю жизнь не просидишь, уткнув лицо в ладони.

Я сжал кулаки.

Пришла мама. На ней не было лица. Она сказала, что большой страны, в которой мы родились и жили, больше нет.

Ее слова меня не потрясли. Я знал более страшное событие.

Но делиться с мамой своим отчаяньем не стал.

Сел на велосипед и помчался, не выбирая дороги, до предела напрягая силы. Все, что я чувствовал – боль в мышцах, ветер, мелькание дорожного полотна, шорох шин. И запах клевера. У меня не было цели. Я убегал от своей вины. Дважды я падал, но, не обращая внимания на ссадины и ушибы, снова поднимал велосипед и мчался дальше. В никуда. Все, чего я желал – столкнуться лоб в лоб со встречным автомобилем.

Теперь я знаю, где это – «в никуда».

Новостаровское кладбище.

Поделиться своим горем я мог только с ним – моим другом Ефимкой.

Я поправил выцветшую ленту латунной медали чемпиона школьной олимпиады и подумал: так ли уж страшна смерть для смертного существа? Страшнее потратить свою короткую жизнь на ничто, на пустяки. А что в этой жизни не пустяки? Так ли уж наивен был Ефимка, мечтающий навсегда покончить со смертью? У смерти наглая, слащавая морда Мухомора. Уж если я хочу, чтобы у моей короткой жизни был какой-то смысл, потратить ее нужно именно на это – поиск бессмертия.

